

1999-2000 - 2000-2001 2001-2002 2002-2003

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1968

АЛЕКСАНДР ГРАЕВСКИЙ

НАУКА КАПИТАНА ЧЕРНООКА

р а с с к а з ы

Художник Р. БАГАУТДИНОВ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

МИНА	7
ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА	43
НАУКА КАПИТАНА ЧЕРНООКА	49
СТАРЫЕ МОЛОЖАНЕ	61
БЛАЖЬ ДЕДА МАТВЕЯ	79
ЛИНИЯ СВЯЗИ	99
ЗАНОЗА	113
ПРИКАЗ ИЗ ДВУХ ПАРАГРАФОВ	129



● МИНА

Землянку, которую занимало отделение сержанта Бердюгина, только взводный командир младший лейтенант Сибиряков гордо именовал блиндажом. На самом же деле это было довольно невзрачное сооружение, попросту говоря, яма, накрытая сверху двумя рядами засыпанных землей худосочных бревешек. Узенький кривой лаз вел из землянки в траншею. А дальше — колючка на покосившихся кольях, притаившиеся мины, сумрачное непаханое поле, не принадлежащее пока никому. Война была здесь полной хозяйством. Все вокруг работало на нее: и люди, и машины, которые принято называть оружием. И дневной свет, позволяющий вести прицельный огонь. И ночная темень, спасающая от него. Казалось, сам воздух, припаивающий гарью и еще чем-то неуловимым и противным, тоже служит войне. Вот уже несколько месяцев фронт здесь стоял. И, как всегда бывает в обороне, в траншеях быстро сложился свой, окопный быт. Застеклили окна в землянках пустыми немецкими бутылками. Понаделали из снарядных гильз светильники «катюши». Из железных бочек соорудили печки. На столиках, застланных плащ-палатками, писали письма — домой и кому придется. По расписанию ходили в караул, изредка брились. До дыр зачты-

вали газеты с победными сводками о боях на юге и со статьями Эренбурга, поругивали поваров. Словом, жили.

В отделении сержанта Бердюгина чаще других на кухню отряжали Ивана Вострецова. Сам он не настаивал на этом. Как-никак до кухни с термосом тащиться километра два. В траншее-то оно спокойней. Да на беду познакомился Иван в запасном полку с будущим батальонным поваром Лаптевым. Тот и в запасном хотел в повара пробиться, но не взяли его по какой-то причине. И все свои обиды он изливал соседу по нарам, Ивану Вострецову. Иван, мужик молчаливый и скромный, сочувственно хмыкал, слушая рассказы о поварском искусстве бывшего заведующего столовой. Поперешных слов не вставлял, хотя, правда, и не возмущался несправедливостью.

Когда в одной маршевой команде пришли они в батальон, Лаптев сумел-таки попасть в повара. А Ивана Вострецова отправили в роту, рядовым стрелком, каковым он и был раньше, до ранения, госпиталя и запасного полка.

Первая встреча бывших соседей по нарам произошла у батальонной кухни и была довольно сердечной. Иван молчаливо улыбался, а Лаптев на глазах у всех шлепнул ему в котелок здоровенный кус мяса. Когда молва

об этом дошла до сержанта Бердюгина, он усмехнулся и заявил:

— Теперь живем. Блат заимели.

Из-за этого самого «блата» и таскался Вострецов с термосами чаще других. И хотя отделение от этого никакой корысти не имело — Лаптев за должность держался и был справедлив, — зато приносило моральное удовлетворение. Дескать, нам наверняка с походом отвалили.

В этот день Вострецову вовсе не хотелось идти на кухню. Стоявший на посту Бердюгин заскочил в землянку, растолкал Ивана и быстро убежал обратно, к пулемету. Дверь за ним жалобно скрипнула, и, вторя ей, печально прошуршала плащ-палатка, повешенная для тепла у входа.

Иван полежал несколько минут, скорчившись под шинелью, потом слез с нар и, нашупав на остывшей печке валенки, стал обуваться.

До чего же ему не хотелось идти! Бывает так на фронте — очень уж не хочется что-нибудь делать... Очень...

Так же, ощупью, Иван нашел на столе котелок с холодным чаем, попил. Во рту остался приятный горьковато-вяжущий вкус. Безошибочно скрутив в темноте цигарку и прихватив приготовленные с вечера термос и автомат, Вострецов протиснулся наружу.

Ночь еще не отступила, но рассвет уже был близок. На востоке четко обозначалась черная рваная линия леса. Над ней угадывалась светлеющая полоска неба. Сырой ветер дул напористо и ровно, донося откуда-то издалека чуть слышный и поэтому совсем не страшный перестук пулемета.

Привычно сгорбившись, Иван прикурил и, пряча самокрутку в кулаке, неторопливо зашагал по траншее. Он шел и думал о том, что днем, наверно, будет вовсе тепло, весной подуло. Что после завтрака ему идти на пост и что в валенках он, наверно, промочит ноги. Что нужно будет обязательно стянуть в хозвзводе кусок фанеры, который он заприметил еще вчера. Сделать это надо на переднем пути, еще затемно. А на обратном пути забрать припрятанную фанеру и, когда станет на пост, положить ее под ноги. Тогда и валенки не промокнут.

За первым поворотом траншеи находилась пулеметная площадка. У хода сообщения маячила фигура. Подойдя, Иван узнал Бердюгина. Сержант стоял, сунув руки в рукава шинели и прислонившись к стенке окопа.

— Никак уже отправился? — хрипловато произнес он, когда Иван остановился.

— Ага, — кивнул Вострецов.

Помолчали.

Бердюгин присел на корточки, закурил. Иван скинул термос, сел на него. Кругом было тихо. Ветер холодил руки и норовил погреть раздуть огоньки цигарок.

— Ну, как ночевал? — давя зевок, спросил Иван.

— Да нормально, — Бердюгин сплюнул. — Пошумели маленько. Всполошился чего-то фриц, ну и мы постремляли.

— Чего он вдруг? — поинтересовался Вострецов.

— А кто его знает... Ракеты засветил, мины покидал.

— Разведка, небось, ходила наша? Обнаружил, обстрелял, отошли. Известное дело — «три о».

— Да нет, не должно. Шуму больше было бы.

Опять помолчали.

В тишине возник шелестящий посвист, резко оборвавшийся негромким квакающим разрывом. Еще посвист — еще разрыв. Потом, с небольшими интервалами, разрывы пошли один за другим.

— Ишь, засекли, гады, — проворчал Бердюгин. — Миномет, видать, приволокли, сорокадевятимиллиметровый...

В этот момент что-то изменилось в мире для Ивана Вострецова. Миг, всего один миг чувствовал он что-то необыкновенное, будто пахнуло в лицо чем-то теплым и упругим. И тут же — страшной силы удар в плечо...

Дома, на Урале, был Иван лесорубом. И хоть ни разу не накрывало его, успел он подумать, сползая с термоса на дно траншеи, что удар падающего дерева должен быть таким же — тупым и беспощадным.

Успел все-таки подумать...

2

Бердюгин, услышав над ухом зловещее пришептывание мины, юркнул в ход сообщения и присел. С минуту напряженно прислушивался, готовый, если нужно будет, еще раз кинуться в сторону. Но разрывов больше не было. Чутьем бывалого солдата он понял — обстрел кончился. И снова выскоцил в траншею, к Ивану. Тот сидел, привалившись к мерзлой стенке. Левая рука бережно обнимала термос. А правая откинулась в сторону, ладонью кверху. Глаза у Вострецова были широко открыты, шапка сползла и чудом держалась на ухе.

Бердюгин нерешительно нагнулся над Иваном. Вострецов несколько раз моргнул, хотел было что-то сказать, но только натужно, с присвистом выпустил воздух через нос.

— Куда тебя, Ваня? — тихо и ласково спросил Бердюгин.

— Мм... — промычал что-то Вострецов.

И тут Бердюгин увидел. Первым увидел беду, которая стряслась с Иваном Вострецовым. Злую штуку сыграла с ним война. И не только с ним, а и со всеми теми, кто готов был прийти ему на помощь. А помошь Ивану была нужна. Ох, как нужна!..

В правом его плече, увязнув в нем наполовину, торчала мина. Небольшая мина, какими стреляют из ротных минометов. Бердюгин ясно видел стабилизатор, придававший этой мине сходство с игрушечной авиационной бомбой. В центре, где крылья стабилизатора сходились, тускло поблескивал медный капсюль. На нем виднелась точка — мята — мята от бойка.

Бердюгин хорошо знал, что такое мина. Да разве он один? Все знали... В укрытии не так страшна, зато на открытом месте косит беспощадно. Веточку заденет, листочек — и разлетается сотнями осколков.

Не разорвалась... Отчего? Почему? Пойди проверь...

Иван шевельнулся, коротко простонал и подтянул правую руку к животу. Бердюгин инстинктивно втянул голову в плечи, ожидая неминуемого взрыва. Но взрыва не было. Тогда Бердюгин выпрямился и, зачем-то отряхивая шинель, крикнул, повернувшись к ходу сообщения:

— Рыбченко!

— Слушаю, товарищ сержант! — послышался в ответ жидкий тенорок.

Вслед за этим в траншею вылез и сам Коля Рыбченко. Был он невысок, но довольно упитан. На широком лице выделялись большие светлые глаза, смотревшие вроде бы открыто и в то же время с едва заметной фальшивкой. В мирное время Коля был карманником. Он и в армии проявлял иногда излишнюю находчивость. Во всяком случае, в караул к продовольственным складам его старались не назначать. Но солдат из Коли Рыбченко в общем-то получился толковый, сообразительный.

— Бегом доложи младшему лейтенанту: Вострецова, мол, ранило. Ребят разбуди, пусть сюда бегут.

— Есть! — коротко бросил Рыбченко.

— Постой! Плащ-палатку захватите. А младший лейтенант пусть сюда придет. Пакет у тебя есть?

Рыбченко сунул Бердюгину индивидуальный пакет и, тяжело топая, побежал к землянке. Сержант закусил зубами нитку на пакете, разорвал его, мотнув головой. Потом грузно опустился на колени, чтобы удобней было делать перевязку.

Ватные подушечки пакета Бердюгин приткнул по бокам мины, на миг ощущив пальцами теплый шершавый металл. Прикосновение это не вызвало страха. Скорей наоборот, стало как-то спокойней. Стараясь не тревожить

Ивану руку, он быстро бинтовал ему плечо. Потом достал свой пакет, прибинтовал и его.

Бинт ярко выделялся стерильной белизной. И даже два розовых пятна, появившиеся на нем и расползвшиеся все шире, не могли нарушить впечатление чистоты, свежести, необычности. Эта белая повязка как бы отделяла теперь Ивана от остальных, подчеркивала, что не место ему здесь, в траншее.

Иван между тем понемногу пришел в себя. Он попытался сесть поудобней, но Бердюгин придержал его.

— Сиди, Ваня. Спокойно.

— Что у меня там? Осколок, что ли? — спросил Вострецов. — Жжет... И рука немеет.

— Сейчас ребята придут, утащим тебя.

— Ага... Закурить дай...

Бердюгин торопливо полез за табаком. Свернув цигарку, он поднес ее ко рту Вострецова. Тот долго ворочал головой из стороны в сторону, стараясь намусолить газетный клочок. Во рту у него пересохло, слюны не было.

Бережно и аккуратно подровняв самокрутку, Бердюгин зажег ее, затянулся и, скусив конец, отдал цигарку Вострецову.

В траншее послышались торопливые шаги. Первым прибежал младший лейтенант Сибиряков, за ним солдаты

из отделения Бердюгина Насибуллин и Абросимов. Вслед явился и Коля Рыбченко, прихвативший плащ-палатку не в своей, а в соседней землянке, сославшись на распоряжение взводного.

При появлении младшего лейтенанта Бердюгин подтянулся. За несколько минут, пока Рыбченко выполнял его поручение, он успел продумать все и сейчас докладывал неторопливо, но четко и решительно.

— Товарищ младший лейтенант, Вострецов ранен. Мы его донесем до санвзвода, только к пулемету надо наряд выставить. Лучше пулемету позицию сменить: за секли его, видать.

— Чего вы его вчетвером понесете? Двоих хватит! — заявил Сибиряков.

— Н-нет... — покачал головой Бердюгин. — Нельзя так, товарищ младший лейтенант. Тут такая штуковина... — Сержант на секунду замолчал. Его сухощавое лицо еще больше заострилось, на скулах выпирали желваки.

— Тут мы должны. Сами. У него ранение такое...

Дрогнул у сержанта голос, самую малость дрогнул. И хоть молод был Сибиряков и горяч порой, но тут понял: случилось что-то необычное. Не стал спорить, а олько приподнял брови и склонил голову набок, будто прислушиваясь к необычным ноткам в голосе Бердюгина.

— Мине у него вот тут. Не разорвалась, — понизив голос, закончил сержант.

— Как не разорвалась? — тоже понизив голос, переспросил Сибиряков. И, сообразив в чем дело, протянул: — Нда-а...

Бердюгин повернулся к солдатам:

— Вот так, ребята. Неволить, конечно, в таком деле нельзя...

Трое стояли перед ним. Три солдата. Три фронтовых товарища.

Коля Рыбченко смотрел, как всегда, открыто. Только исчезла хитринка во взгляде. Насибуллин — плотный, здоровый, черный — легонько и светло улыбнулся сержанту. Абросимов — высокий и сутулый — меланхолично вздохнул и потер рыжеватую щетину на подбородке. Ни один не сказал ни слова. Да и не к чему было говорить. Все понял Бердюгин. На войне не надо есть пуд соли, чтобы узнать человека...

— Рыбченко! Давай палатку! — неожиданно звонко скомандовал сержант.

Коля протиснулся вперед, разостлав плащ-палатку. Насибуллин, закинув за спину автомат, бережно, без видимого усилия, приподнял Вострецова, подсунув ему руки под спину, и перенес на палатку. Бердюгин помогал ему. Абросимов потоптался, соображая, что ему

делать. Увидел термос и подумал, что они, пожалуй, останутся без завтрака. Торопливо закинул термос за плечи и по укоренившейся привычке поднял воротник шинели.

Бердюгин, увидев это, усмехнулся, но ничего не сказал. Он взялся за угол плащ-палатки у раненого Иванова плеча и коротко бросил:

— Берись!

Так и пошли они, с трудом протискиваясь в траншее. Впереди Абросимов и Рыбченко, сзади Бердюгин и Насибуллин. Термос на спине Абросимова позвякивал в такт шагам. Коля Рыбченко двигался суетливо, но аккуратно. Насибуллин держал палатку одной рукой и приотставал, чтобы Бердюгину было удобней идти. Бердюгин старался, чтобы Ивана не встряхивало. А сам Иван лежал молча, и на лицо его легли тени.

Из траншеи повернули в ход сообщения. Он вывел в небольшой, заросший голыми кустиками ложок. Шли, норовя поменьше раскачивать плащ-палатку. Шли неторопливо, но и не останавливались. Шли молча.

3

Батальонный фельдшер Миша Реутов в это утро отдохнул. Пять дней подряд трудился он не разгибая спины,

проводил баню. Солдат из рот давали скучно, и Миша сам помогал им рубить дрова. Да еще успевал наделить всех моющихся мылом, следил за тем, чтобы в жарилке поддерживалась высокая температура, заменял парикмахера, умело орудуя машинкой, — одним словом, крутился. Поздно вечером, до малинового цвета раскалив громадную бочку, из которой была сделана в бане печь, Миша истово помылся сам. А потом сидел на холдке, как бывало дома, в одном белье и блаженно покуривал.

К себе в землянку Миша пришел поздно, но еще долго возился: пришил подворотничок, начистил сапоги и пуговицы. На завтра предполагался, как любил говорить Миша, «выход в люди».

День обещал быть спокойным, и Миша собирался прогуляться в санроту. Там у него был дружок, а кроме того, можно было повидаться и с девчатами. Намечалось устроить небольшой парадный обед с приглашением девушек. Такая возможность выпадала не часто, и Миша очень ею дорожил.

Встал он рано, на ощупь побрился, благо борода на его румяных щеках росла редкая и мягкая. Протерев лицо одеколоном, Миша тщательно приладил к гимнастерке новенькие узкие белые погоны, которые ему удалось достать совсем недавно. Он долго раздумывал, не прице-

шить ли вторую пару новых погон на шинель. С одной стороны, нарядней, конечно. Но с другой... Нет, не стоит! Ведь на шинели у него обыкновенные полевые погоны, и незнакомые солдаты величают его лейтенантом. Это звучит значительно приятней, чем военфельдшер. Распорядившись, как и что делать в его отсутствие, он начал собираться в дорогу. На свет появилась офицерская сумка. В ней хранились запасы, которые нужно было взять с собой. Миша бережно выложил на столик в землянке пять банок консервов и флягу. Положенные сто граммов бравый фельдшер не пил, норовил прикончить на всякий случай. Консервы из офицерского пайка тоже расходовал экономно. Но сегодня, ради парадного обеда...

Миша сначала сунул в сумку четыре банки, одну спрятал в изголовье. Потом, подумав, вынул из сумки еще одну банку и тоже припрятал ее. Еще подумав, он достал вторую флягу, пустую, и начал отливать в нее спирт.

За этим занятием и застал его Бердюгин. Миша покраснел, когда сержант неожиданно ввалился в землянку. Торопливо завинчивая флягу, фельдшер забыл о второй. Колени сразу стали сырьими, в воздухе заблагоухало. Бердюгин невольно повел носом.

Миша растерялся и рассердился. Стараясь побыстрей

сунуть фляги в изголовье, он визгливо крикнул Бердюгину:

— Чего стоишь! Докладывай!

— Раненого доставили, товарищ военфельдшер, — не громко произнес сержант. И добавил: — Тяжелораненного.

Миша Реутов не стал переспрашивать. Он изменился буквально на глазах. Только что перед Бердюгиным сидел нашкодивший и поэтому петушившийся мальчишка. А сейчас из-за стола быстро встал подтянувшийся и серьезный человек. Уверенным движением надев ремень, туго затянул его, застегнул ворот гимнастерки и, надевая на ходу шапку, бросил:

— Пошли!

Бердюгин двинулся было следом, но остановился.

— Товарищ военфельдшер...

— Ладно, ладно, потом!

Реутов уже открыл дверь, когда сержант схватил его за гимнастерку. Миша обернулся, его брови поползли вверх.

— Чего тебе?

— Тут такое дело, — замялся Бердюгин. — Надо бы...

— Чего надо? — нетерпеливо перебил его Миша.

И тут его осенила догадка. Да такая, что он немедленно взыграл:

— Ах, ты... И не стыдно тебе?! Есть мне время тебя поить! Ведь там раненый! Пойми ты, доходяга несчастный, ра-не-ный!

Ошарашенный Бердюгин даже попятился.

— Взорваться может, товарищ военфельдшер! Надо бы осторожней,— сурохо перебил он.

— Взорваться? Что взорваться? — Миша все думал о своей фляге.

— Мина у него застряла, у Вострецова, у раненого. Взорваться может, говорю.

Наконец-то до Миши дошло. Молча смерив сержанта взглядом, он круто развернулся и уверенно вышел из землянки. Бердюгин — за ним.

Солдаты уложили Вострецова в большой зеленой палатке батальонного медпункта. Лицо раненого заострилось. Время от времени он с усилием открывал глаза, темные веки при этом дергались. Товарищи молча топтались вокруг.

Миша вошел в палатку, стремительно откинув полог. Палатка вздрогнула, будто от испуга. Марля, прикрывавшая окно, взметнулась белым крылом, словно хотела вырваться из этого страшного места...

— А ну, марш отсюда! — с ходу скомандовал Миша. — Ты тоже уходи, — кивнул он сущившемуся у печки санитару, — На руки только полей.

Сержант широким жестом подтвердил приказание Миши, и солдаты один за другим вынырнули из палатки. Бердюгин отошел к выходу и остался. Тщательно мывший руки Миша обернулся:

— Давай, давай!

В палатке стало пусто и, как показалось Мише, холодней. Он подготовил шприц с противостолбнячной жидкостью, подошел к выходу. Высунув голову наружу, крикнул:

— Воздух! Давайте-ка топайте в укрытие!

Подождав, пока солдаты отошли подальше, задернул за собой вход. Остановившись над Вострецовым с поднятым в руке шприцем, подмигнул раненому:

— Ты, дядя, только не рыпайся. Понял?

— Понял, — хрюпло ответил Вострецов. — Попить бы...

— Обожди. Жидкость против столбняка введем.

Когда игла вошла под кожу, Вострецов весь напрягся, но не дернулся, лежал тихо. Только глаза зажмурил.

А Миша между тем приговаривал:

— Вот и порядок... Йодом его, йодом... Не больно ведь?

Вострецов молчал. Его знобило, очень хотелось пить. Рука совсем онемела. Хотелось пошевелить пальцами, и было боязно. В конце концов он все же шевельнул ими. Ему казалось, что раз пальцы шевелятся, то ранение не такое уж серьезное.

Миша налил было воды в железную кружку, сделанную из американской консервной банки с нарисованной на ней бычьей головой. Потом с досадой выплеснул воду в угол и исчез. Вскоре появился снова, бережно неся кружку.

— Испей-ка, солдатик, — склонился он над Вострецовым. — Тебе полезно. Витамин «ш»!

Вострецов смотрел на него устало и непонимающе.

Миша заботливо приподнял голову раненого и поднес кружку к его губам. Вострецов сделал два-три судорожных глотка, скривился и отвернулся.

— Порядок! — приговаривал Миша, марлевой салфеткой вытирая раненому подбородок. — Теперь и ехать можно!

Секунду подумав, он лихо, запрокинув голову, допил из кружки остатки спирта, заспешил к выходу. И тут же раздался его радостный крик:

— Ерофеич! Чего ты чешешься?! Давай подводу!

Вынесли Вострецова на плащ-палатке и уложили на розвальни все те же четверо: Бердюгин, Рыбченко, Насибуллин и Абросимов. Прощались, вразнобой желая скорой поправки. Бердюгин вытащил из кармана кисет с махоркой и положил его Ивану на живот.

Ездовой Ерофеич, взяv лошадь под уздцы, спросил Мишу Реутова:

— А вы поедете, товарищ военфельдшер? Вроде собирались...

— Нет, — отрезал Миша. — Некогда сейчас. Понужай, давай.

4

От веселого соснового перелеска, в котором стояла палатка санвзвода, до темного леса, где размещалась санрота, дорога шла полем. Она не торопясь взбиралась на гребень бугра, лениво изгинаясь, бежала вниз и, суетливо петляя, скрывалась в кустах, росших на опушке. Поле лежало большое, белое, еще не тронутое солнцем. Только темная лента дороги, кое-где расцвеченная оранжевыми пятнами застывшей лошадиной мочи, перечеркивала эту белизну.

По дороге медленно, очень медленно, вышагивала, грустно поматывая головой, высокая черная лошадь, запряженная в сани. На санях лежал Вострецов, а лошадь вел под уздцы ездовой Ерофеич.

Его грязный полушубок, сильно перехваченный в поясе, книзу расходился широким колоколом. В лад шагам этот колокол ходил из стороны в сторону. Уши шапки Ерофеич поднял, но не связал, и они болтались по-шерячничьи.

Когда сани встряхивало или заносило на раскате, Ерофеич оглядывался. Военфельдшер наказал ему везти раненого осторожно, предупредив, что иначе «он взорвется». Всяких раненых возил Ерофеич, случалось, что и умирали они в дороге, у него на глазах. Но такого еще не бывало. Может быть, поэтому он оглядывался больше из любопытства, чем со страха.

Несмотря на свои пятьдесят лет, Ерофеич был подвижным, жилистым мужиком. Только походка выдавала возраст — ходил он тяжело, на каждом шагу чуть приседал на кривых ногах.

Вострецов лежал тихо, лишь изредка открывал глаза. В лохматом месиве облаков появились первые, еще очень маленькие, голубые разводья. Они исчезали, затягивались темными космами туч и вновь возникали, свежие и чистые. Вострецов следил за ними. Ему хотелось, чтобы разводья заполнили все небо, чтобы стало оно голубым и приветливым, чтобы ласково грело солнце. Он бы задремал тогда, наверно...

Уже с полчаса вышагивал Ерофеич рядом с лошадью по пустынному полю. В полушибке идти было жарко, голова под шапкой взмокла. Хотелось сесть в сани, вытянуть натруженные ноги, не торопясь, со смаком покурить. Но военфельдшер наказывал: иди лучше впереди — дескать, безопасней будет. Ну, а раз безопасней,

то с собственными ногами считаться не приходится. Надо вот только переобуться, а то портянка сбилась. Ерофеич остановил лошадь. Сразу же исчезли те немногие звуки, которые до этого отгоняли тишину, нависшую над белым полем. И стук лошадиных копыт, и поскрипывание саней, и шуршанье полозьев. В первый момент ездовой даже прислушался к тишине, пособачьи склонив голову. А потом обошел лошадь и, опасливо оглянувшись на Вострецова, присел на сани. Еще раз оглянувшись для верности, начал стягивать валенок. Он долго кряхтел и тужился, прежде чем ему это удалось. Когда валенок, наконец, слез, вокруг крепко запахло солдатским потом.

Разгладив на коленях портянку, Ерофеич ловко навернул ее, ощущая разгоряченной ступней приятный холодок. И в этот момент услышал голос Вострецова:

— Слушай, солдат, помоги-ка...

Ерофеич не успел повернуться на голос, как увидел рядом с собой ногу в сером валенке с подвернутым верхом, неуверенно, мелкими толчками сползвшую с саней. Вот нога нашупала дорогу, перестала вздрогивать, встала твердо.

Ездовой проворно вскочил, привычно притопывая после переобувки, и обернулся. Вострецов, опираясь на здоровую руку и заваливаясь набок, силился сесть.

— Куда... Куда тя... — пятысь, забормотал Ерофеич. — Лежи, паря, скоро приедем. Портянка, понимаешь... Сейчас понужнем...

Ему представилось, что Вострецов сейчас встанет и, прижав скорченную руку к животу, пойдет по дороге. Что он не может ждать и побредет сам, шатаясь и останавливаясь. И никакая сила не усадит его в сани.

Вострецов стащил, наконец, вторую ногу с саней и сел. Не глядя на Ерофеича, стал шарить левой рукой на поясе. И снова попросил:

— Помоги-ка, слышь...

Ерофеич засуетился, хлопнул себя по бедрам, поскреб в затылке и вообще ухитрился быстро сделать много ненужных движений. Лишь после этого он, нагнувшись, начал уговаривать:

— Ты бы потерпел, браток, а? Недалеко уже, скоро досдем... А в крайности и так можно... Понимаешь?

Вострецов поднял на него мутные от боли глаза. Под этим тяжелым взглядом Ерофеич забубнил:

— Ты ведь раненый... Какой с тебя спрос...

Решившись в конце концов сказать то, что не сразу срвалось с языка, он выпалил:

— Взорваться можешь, ядрена копалка! Мина в тебе!

Вострецов по-прежнему ничего не отвечал ему. Он начал нагибаться вперед, норовя встать на ноги. Тогда Ерофеич крутанул перед носом кулаком, нахлобучил шапку и шагнул к раненому. Встав рядом с санями, он нагнулся, подставляя морщинистую шею и упервшись руками в колени.

— Держись!

5

Старший врач полка Тихон Иванович Скрипка был озадачен. Несколько минут назад ему позвонил Миша Реутов и доложил, какого раненого везут сейчас в санроту. Тихон Иванович сначала даже не поверил, а поверив, понял: нужно что-то предпринимать.

Упитанный, налитой, он шариком выкатился из землянки, в которой был установлен телефон, и начал действовать. Санитар Яковенко, который вовсе и не был санитаром, а исполнял обязанности ординарца, с ног сбился, выполняя его указания. Вскоре вся санитарная рота зашевелилась, как муравейник, в который сунули палку. Но Тихон Иванович во всей этой суете действовал, как всегда, с умом и с оглядкой.

Никому ничего толком не объяснив, он вновь скрылся в землянке. Посидев там в одиночестве и все обдумав,

крикнул Яковенко. Когда тот явился, Тихон Иванович глянул куда-то в сторону, многозначительно пожевал губами, скомандовал:

— Вызови фельдшера Брагина и эту... как ее...

— Марию? — подсказал Яковенко.

Тихон Иванович глянул на него и, вновь отведя глаза, утвердительно кивнул:

— Ну да. И еще шофера вызови с медсанбатовской машины. Действуй.

Яковенко отправился выполнять приказание, в который уже раз дивясь про себя умению своего начальника выкручиваться, ничего не забывать и ничего не прощать. Дело предстоит неприятное, опасное — значит, поручит его фельдшеру Брагину. Меньше загрить надо с начальством. Ну и, само собой, Марии тоже: не будь спесивой. И машина пойдет медсанбатовская — свой транспорт целее в случае чего...

Тихон Иванович позаботился не только о транспорте. Пока Яковенко ходил, он позвонил начальнику штаба полка, пересказал ему все и выпросил разрешение взять на помощь четырех саперов.

Первым по вызову явился шофер. Высокий, подтянутый, ловкий, он всем своим видом давал понять, что Тихон Иванович ему не начальник.

Скрипка начал с торжественного вступления:

— Вам предстоит, — сказал он, — выполнить опасное и ответственное задание.

— Я раненых должен возить, — перебил его шофер.

— Правильно, — будто обрадовавшись его догадливости, подтвердил Тихон Иванович. — Об этом и идет речь.

Шофер насторожился, вцепившись взглядом в лицо старшего врача. А тот продолжал в приподнятом тоне:

— Помощь раненым — наш священный долг. Как говорится, сам погибай, а товарища выручай.

— Я на передовую не поеду, — вновь взбеленился шофер. — У меня такого приказа нету.

— Вы поедете в медсанбат, — повысил голос Тихон Иванович. — И повезете тяжелораненого воина. У него в теле застряла неразорвавшаяся мина. Поэтому везти нужно осторожно.

На минуту в землянке воцарилось молчание. Прервал его шофер, с которого как-то разом слетел весь гонор. Он заметно сгорбился и уже тихо, даже заискивающе попытался вывернуться:

— На лошади, может?.. Сподручней все же, трясти не будет...

— Идите, готовьте машину, — властно прервал его Скрипка. — Поставьте ее у большой палатки, да так, чтобы потом не разворачиваться лишний раз.

— Слушаюсь, — сипло пробормотал шофер.

Выходя из землянки, он снова приосанился и, яростно, с вывертами матерясь, направился было к машине, за- маскированной под деревом. Но, не дойдя до нее, вдруг остановился, круто повернул и побежал разыскивать знакомого оружейника.

Минут через пять шофер появился вновь, таща на плече два щитка от станкового пулемета. На голове у него была нахлобучена каска. Зло скалясь, он начал сооружать бронированную спинку у своего сиденья, норовя сделать так, чтобы отверстия одного щитка не совпадали с отверстиями другого.

Между тем Вострецов и Ерофеич подъезжали к опушке. Вострецов по-прежнему лежал на спине, только глаза уже не закрывал, взгляд их стал более осмысленным. Изредка он чуть-чуть шевелил пальцами раненой руки или осторожно поглаживал их здоровой рукой. Ерофеич брел впереди и, время от времени оборачиваясь, все пытался завязать разговор. Но раненый не отвечал ему. Он жил в каком-то другом мире, где больше всего хотелось прислушиваться к самому себе, к тому, что происходит в подбитом теле. И только почуяв, как запахло въедливым махорочным дымком, Вострецов слабо окликнул езового:

— Закурить бы...

Ерофеич сразу же остановил лошадь и бодро ответил:
— Эт-та можна!

А когда Вострецов осторожно затянулся первый раз, ездовой задал ему вопрос, без которого не обходилась ни одна солдатская беседа:

— Ты откуда сам-то, браток?

И выслушав ответ, утвердительно кивнул:

— Уральский, значит. Сусед выходишь, я сибирский сам-то...

За следующим поворотом навстречу им вышел Тихон Иванович и громко крикнул:

— Стой!

В полном одиночестве Ерофеич подвел лошадь к машине. Саперы с одинаково побледневшими лицами (довел их Тихон Иванович своим инструктажем!) осторожно перенесли Вострецова на носилки, а потом фельдшер укрепил носилки в машине.

Вышел из-за дерева шофер, юркнул в кабину. Рядом с ним уселись Мария — рыжеватая редкозубая девчонка в кубанке. Увидев, как шофер норовит покрепче прижать спиной пулеметные щитки, она оскалилась, по-кошачьи фыркнула и что есть силы хрястнула разболтанной дверцей.

Тихон Иванович в отдалении махнул рукой:

— Поехали!

Леня Береснев знал, что хороший хирург из него не получится. Он, собственно, и не собирался быть хирургом. Война заставила... Но зачем же так бестактно напоминать о его неталантливости? Ох уж эта Вера Алексеевна! Въедливая баба. И зачем она каждый вечер закручивает кудряшки? Зачем это ей, седой уж совсем? Вера Алексеевна сидит перед Леней, через столик, как всегда, подчеркнуто вытянувшись. Голос у нее ровный, серый. В тakt словам она изредка похлопывает по столику ладонью.

— Выбор пал на вас, Леня, не потому что вы хороший хирург. Повторяю, вы, наверное, никогда не будете хорошим хирургом. Но вы — одинокий молодой человек. У остальных врачей — семьи...

Вера Алексеевна примолкла. Что-то необычное заметил в ней в этот момент Леня. Ага! Она вроде бы покраснела!

— Вы вправе если не спросить, то подумать, почему я сама не берусь за это опасное — да, опасное — дело. — Вера Алексеевна уже оправилась от смущения, и голос ее звучит по-прежнему монотонно. — Я обдумала этот вопрос. Может получиться, что у меня не хватит силы. Просто физической силы. Мне, возможно, придется эту

мину расшатывать или еще что-нибудь подобное. А это — ненужный риск. Не надо забывать, что взрыв грозит смертью прежде всего раненому.

За глаза Леня зовет Веру Алексеевну самой отважной девушкой в дивизии. Умудрилось же начальство — наградили старушку тремя медалями «За отвагу». Но мысль о том, что она может чего-нибудь испугаться, — нет, такая мысль Лене не приходила в голову. Она и вправду храбрая. Только храбрость у нее тоже какая-то невеселая, как и все ее поступки и слова.

— Ассистировать я вам не буду, это ни к чему. — Узкая сухая ладонь прихлопнула эту фразу. — Чем меньше людей, тем меньше риска. Операционной сестрой будет Ольга. Прежде чем вызвать ее, мне хотелось бы спросить вас...

Вера Алексеевна внимательно смотрела на Леню.

— Да чего там, — махнул рукой Леня. — Раз надо...

— Нет, нет, я не об этом. Это не экзамен, конечно, но все-таки: с каким наркозом вы будете оперировать?

Леня хмыкнул. Лучше бы, наверное, под местным. Но ведь дернется, чего доброго, задрыгается...

— Под общим.

— Это так. Но не давайте хлороформ или эфир. Введите гексенал. Не будет стадии возбуждения. Пока больной спит, вы наверняка успеете удалить мину.

— Ясно, — буркнул Леня, злясь на собственную недогадливость. — Можно идти?

— Да, да, конечно. Я сейчас пришлю Ольгу. И еще — сейчас придет сапер. Он будет вас консультировать во время операции. Советуйтесь с ним.

— Где хоть у него мина-то сидит? — спросил Леня, вставая.

— В правом плече. Большего, к сожалению, сказать не могу. Этот мерзавец Скрипка даже не осмотрел его, сразу переправил к нам.

Леня понимающе кивнул и вышел.

Через несколько минут, готовясь к операции, он встретился с Ольгой. Небольшого роста, худенькая девушка яростно мыла руки и время от времени исподлобья поглядывала на Леню. Оба молчали. И только уже надев халат и натягивая отсвечивающие ядовитой желтизной перчатки, Ольга бросила куда-то в пространство:

— Могла бы ведь по-человечески... А то, говорит, вы из детдома, у вас, говорит, родных нет... Правильно, конечно... Зануда!

Зло дернув худеньким плечом, она первой прошла в операционную.

И вот они стоят по обе стороны накрытого бежевой клеенкой высокого операционного стола и ждут. Стоят в нелепых позах, прижав локти и разведя в стороны

поднятые кисти рук, будто собираются танцевать какой-то танец матрешек.

Леня снова и снова возвращался в мыслях к разговору с Верой Алексеевной. У остальных — семья... А мама — это не семья?

В это время палатка заходила ходуном. Теснясь в проходе, мешая друг другу, санитары втащили носилки с Вострецовыми. Задержав дыхание, они с натугой высоко поднимают их и бережно ставят на стол. Еще секунда — и в палатке пусто. Только Вострецов на носилках да Леня с Ольгой.

Леня физически ощутил эту внезапно наступившую пустоту, оглянулся. Нет, в уголке сидит на табурете Вера Алексеевна. Рядом с ней стоит коренастый пожилой мужчина. Кургузый халат топорщится на нем, как плащ. Лицо крупное, темное, волосы черные, небольшие усыки. Зачем он здесь? Кто такой?

Но раздумывать и спрашивать некогда. Леня снова склоняется над раненым.

С Вострецова уже сняли все, что можно было снять. Даже левый рукав отрезали и оголили левое плечо. Остался правый рукав — грязный, намокший кровью, да потемневшая повязка.

Вострецов смотрит на врача внимательно — настороженно и вопросительно. Губы плотно сжаты, щеки за-

нали, бугры желваков застыли неподвижно. Леня откидывает простыню, и голый живот раненого вздрагивает, покрываются гусиной кожей.

Леня поворачивает голову к Ольге, секунду смотрит на нее и молча кивает. Ольга тоже молча поворачивается к стерильному столику и подает ему шприц с гексеналом.

Обычно Леня, копируя профессора, у которого учился, разговаривал с ранеными, когда оперировал или перевязывал их. Но сегодня он работал молча.

Ножницы с трудом режут намокшую вату телогрейки. Да, действительно, физическая сила...

Вот оно. Голое плечо. Чуть ниже ключицы торчит мина. Вокруг нее черные сгустки. На бок раненому стекает струйка свежей крови.

— Минуточку, — вдруг слышит Леня над самым своим ухом. — Что вы с ней думаете делать?

Леня поднимает голову и видит, что рядом с ним стоит тот самый, черный. Только теперь на лице у него повязка, а на голове шапочка. Это, конечно, Вера Алексеевна позаботилась... Но что ей надо? Ах да, он промину...

— Разрезы сейчас делать буду, — говорит Леня, все еще с недоумением глядя на незнакомца. Тот кивает —

валяй, мол. А сам придвигнулся ближе, встал у изголовья раненого.

«Сапер!» — догадывается, наконец, Леня и протягивает руку за скальпелем.

Разрез. Тампон. Что же — тащить ее? Или рано? Еще разрез.

Сапер протягивает руку в хирургической перчатке и осторожно берется за стабилизатор мины. Леня смотрит на него. Глаза у сапера задумчивые, будто он что-то вспоминает. Вот он кивнул головой. Еще разрез.

Рука сапера медленно, чуть вздрагивая, поднимается. Рана будто становится шире, видны стали рваные края. Вот и вовсе пустая дыра, заполненная черной кровью. С мины тоже каплет кровь, загустелая, черная. Вот упал в рану целый ошметок, словно густое варенье с ложки.

Мина исчезла. А рана по-прежнему зияет черной дырой. Ну, теперь быстро. Леня работает с остервенением. Ему немножко обидно, что все обошлось так просто. Вот закончит все и выпьет. Во фляге, кажется, еще осталось... Так. Теперь зашивать.

Вострецов напрягает тело и что-то мычит. Леня работает лихорадочно — действие наркоза кончается. Скобка. Вострецов сжал кулаки. Еще скобка. Иглу. Все... Леня вяло отходит в сторону, уступая место Ольге, Та

быстро, сноровисто накладывает повязку и одновременно что-то говорит раненому, тихо и ласково.

Леня стягивает перчатки. Ему нестерпимо хочется курить. Он уже полез в карман за портсигаром, но в это время в операционную вбегает сапер.

Сорвав повязку, он хохочет:

— Взорвалась ведь, подлюга! — И, возбужденно рубя воздух рукой, выкрикивает: — Я ее в отхожее место. А она — пук! Вот сволота!

Леня стоит, смотрит на него и тоже смеется. Смысл слов до него еще не дошел, но ему уже весело, ужасно весело.

— Разорвалась? — тихо спрашивает Вострецов.

Лицо у него пожелтело, губы запеклись, но глаза светлеют, в них, в самой глубине, затеплился интерес.

— Ага! — приветливо кивает Ольга. — Разорвалась. — И, наклонившись поближе, говорит так, как говорят детям: — Ты потерпи маленько, родненький. Переливание крови тебе сейчас сделаем.

Вострецов молча кивает и чуть щурит один глаз.

Лежит он спокойно, только время от времени шевелит пальцами правой руки.





● ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА

Здравствуйте, Лариса!

С приветом к вам незнакомый вам воин Красной Армии Яков Косенко.

Лариса! Вы, конечно, меня не знаете и удивитесь, когда получите это письмо. Но мне о вас рассказывали как о хорошей девушке. Вот я и решил вам написать. Может быть, вы не обидитесь и ответите мне на письмо. Тогда я о себе напишу подробно.

С боевым приветом

Яков Косенко

1 октября 1942 года.

Здравствуйте, дорогая Лариса!

Получил ваше письмо, очень рад. Вы спрашиваете, откуда я о вас узнал. Люди рассказали, а кто — неважно. Главное, мы теперь переписываемся, можно сказать, немножко познакомились.

Лариса! Вы просите, чтобы я написал о себе. Писать мне особенно нечего. Образца 1923 года, холостой, неженатый. До войны учился, да еще работал немного токарем. Вот и вся моя анкета. А кто я сейчас и где, об этом писать не положено, военная тайна. Сам не знаю и вам не скажу.

Лариса! У меня к вам большая просьба: пришлите мне

свою фотокарточку. А то я вас совсем не представляю. Мне, конечно, рассказывали, но это все не то. Знаю только, что вы хорошая девушка, это по письму видно. Поздравляю вас с праздником Октябрьской революции, только письмо мое, наверное, придет уже после праздника.

Очень буду ждать вашего ответа.

Яков Косенко

1 ноября 1942 года.

Лариса, дорогая!

Большое спасибо за фотокарточку. Я это письмо пишу, а сам смотрю на нее и представляю, какая вы есть.

Письмо пишу ночью. Мы тут наоборот живем: днем спим, а ночью воюем. Ночи сейчас длинные, идут тихо.

Вы пишете, что у вас уже снег. Здесь тоже снегу много. Каждый день траншеи чистим.

Лариса! Вы просите меня прислать фотокарточку, так у меня нет. Одна, правда, есть, так еще довоенная. Ее посыпать не стоит. Вот если сфотографируюсь где-нибудь, обязательно пришлю.

Пишите, Лариса, ответ. Буду ждать.

Ваш Яков Косенко

1 декабря 1942 года.

Лариса!

Сегодня новый год. А я себе еще три месяца назад дал зарок: если доживу до нового года, напишу вам. Не знаю, как и начать, как объяснить вам все, чтобы стало понятно. Понимаете, Яша Косенко вам не писал. Он только собирался вам написать, да не успел. Яша Косенко был мой друг. Мы с ним вместе целый год воевали. Сначала в лыжной бригаде. Я еще его на лыжах ходить учили. Потом, весной, бригаду расформировали, а нас вместе направили в одну часть.

Мы все время вместе держались. Яша был настоящий друг и товарищ. Родных у него не было, сам он из детдома. А этот детдом остался на оккупированной территории. Яше даже письма писать было некому.

Конечно, есть у нас ребята — балуют, пишут письма направо и налево. Все, мол, веселей время проходит. А Яша не писал. Гордый был. Ну, и стеснялся маленько. Потом его один солдат уговарил вам написать. Он у вас в госпитале лежал и фамилию знал, и адрес.

Яша сначала отнекивался, а потом все же согласился. «Ладно, — говорит, — напишу. Первого числа напишу, как новый месяц начнется».

До первого оставалось дня, кажется, два. А как раз 1-го октября Яшу убило.

Вечером писарь прибежал, все выспрашивал, куда мож-

но Яшину похоронную отправить. Отчитаться, говорит, надо по всей форме.

Обидно тогда мне стало очень. Сидим мы в землянке, где все осталось, как при Яше. И столик тот же. Он еще на спор гвоздь в него ладошкой забивал. Ладошку поранил. А тут ребята уже его плащ-палаткой этот стол накрыли. И похоронную даже некому послать.

Вот тогда я и решил: напишу за него письмо вам, и если жив буду, до нового года все буду за него писать. А в новый год напишу правду.

Конечно, если бы Яша сам вам письма написал, так они бы интересней были. Он о своей жизни рассказывал очень хорошо. А мне и писать нечего было вовсе.

Лариса! Я так подумал. Вот погиб Яша. И никто его помнить не будет. Самого меня могут в любой час убить, а друзей у него больше не было. Вот и решил я вам за него написать. Может быть, хоть вы будете вспоминать теперь о Яше Косенко. Не обижайтесь, Лариса. Я хоть на несколько месяцев, а память о друге оставил. Отвечать на это письмо не надо. Прощайте.

Виктор Бушуев

1 января 1943 года.





НАУКА КАПИТАНА ЧЕРНООКА

Не спалось. Устал так, что порой к горлу подкатывала тошнота, а все равно не спалось. Виктор сбросил с себя полуушубок, которым укрывался, сел и шепотом выругался.

В избе было душно, воздух густо настоялся на запахах потных тел, табачного дыма, валенок и портянок, сохнувших на железной печке. Из кухни доносился прерывистый, с захлебом, храп.

На большом — в треть комнаты — столе помахивала бледным язычком пламени коптилка. У стола сидел в распоясанной гимнастерке капитан Черноок и в упор смотрел на Виктора.

Виктору стало не по себе от этого взгляда. Про Черноока говорили, что он немножко того... Тронутый, что ли. Вон и сейчас сидит, когда все спят. Все думает. А о чем, не скажет. Не любит разговаривать. Мрачная личность.

Виктор деланно зевнул, встал и, осторожно ступая между спящими на полу, обогнув большую, подвешенную к потолку зыбку, подошел к столу. Черноок продолжал смотреть на него, теперь уже немножко скосив глаза, отчего стали видны белки и взгляд приобрел звероватость.

«Ишь, бизон, — с неприязнью подумал Виктор. — Того и гляди, подденет».

Капитан и вправду чем-то напоминал бизона: шея короткая, здоровенный, плечистый, на лоб свешивается жесткая косая челка, в черноте которой — даже сейчас видно — поблескивают седые нити. Он молча шевельнул всем своим большим телом, подвинулся, приглашая Виктора сесть.

Места на широкой лавке было много, и Виктор сел поодаль от капитана, начал шарить кисет. Бросив его на стол, полез за бумагой в карман гимнастерки и, нашупав там небольшой сверток, тяжело вздохнул:

— Эх, будь ты тройты...

Капитан повернул голову к нему и опять посмотрел в упор. Во взгляде его угадывался интерес, он, видно, хотел спросить, о чем Виктор вздыхает. И, поняв этот немой вопрос, Виктор пояснил:

— Братцева убило сегодня, связного. Домой вот написать надо.

Он достал из кармана сверток, обернутый в тонкую коричневую медицинскую клеенку, развернул его. На стол легли красноармейская книжка, небольшая, по размеру книжки, фотография и два письма в согнутых пополам конвертах.

Еще раз вздохнув, он повертел красноармейскую книжку, раскрыл ее. «Братцев... Федор... Семенович... 1910...» Все это сейчас ни к чему. Сейчас надо написать о том,

что Братцева больше нет. Положив книжку, он взял фотографию. Еще не взглянув — узнал, несколько дней назад Братцев показывал ее, тогда еще совсем новеньнюю. Всего несколько дней прошло, а фотография уже не выглядит новой. Уголок оборван и потускнела. А может, это от света? Свет здесь плохонький...

На фотографии женщина в платочке. Большие руки она положила на худенькие плечи стоящих по бокам белобрысых девчонок. А на коленях у нее мальчишка, совсем еще маленький. Все четверо испуганно жмутся друг к другу и по-деревенски прямо смотрят с фотографии. Жена и дети. Семейный портрет. Продукция какого-то залетного фотографа.

Капитан завозился, придвигнулся к Виктору, наклонился, норовя получше рассмотреть фотографию. Виктор протянул маленький глянцевитый листок:

— На днях получил Братцев. Трое сирот вот осталось. Черноок взял фотографию толстыми пальцами, осторожно пододвинул ее к коптилке. С минуту смотрел на нее и вдруг страшно скрипнул зубами. В груди у него что-то уркнуло, глаза стали совсем дикие.

Виктор оторопело глянул на него, а капитан неуклюже вылез из-за стола и, сильно сутулясь, пробрался вдоль стенки в угол, лег там, затих.

Разное говорили в полку о командире роты автоматчи-

ков капитане Чернооке. Виктор, сидя у стола и пуская к потолку табачный дым, подумал, что, пожалуй, есть в этих рассказах доля истины. Вон ведь как его передернуло. Не иначе и вправду немцы сожгли живьем всю его семью — и жену, и детей, и отца с матерью... И еще вспомнилось, как на собрании партийного актива дивизии начальник политотдела перед наступлением вразумлял всех, что успех подразделений теперь будет измеряться количеством взятых пленных. Вразумлял, вразумлял и вдруг спросил:

— Капитан Черноок здесь?

— Я! — привычно рявкнул капитан, поднимаясь.

— Вас персонально прошу запомнить, — полковник подчеркнул слово «персонально». — Врага уничтожают тогда, когда он не сдается. — И вновь нажим на словах «уничтожают» и «не сдается»...

Долго еще тогда по рядам шел смешок. А комбат Сизов, глядя на капитана, глубокомысленно изрек:

— Мужик, что бык. Втемяшится в башку какая блажь...

Да-а... А письмо все же надо написать. Уж лучше сразу. Это он по опыту знает. Уж лучше сразу.

Расставив руки, Виктор по-журавлиному прошагал на свое место, достал полевую сумку. Когда вышагивал обратно, зацепился сумкой за зыбку, едва не упал и,

неуклюже переступив, тяжело плюхнулся на лавку. Ругнувшись еще раз, достал бумагу и карандаш. На минуту вновь стало тихо. И вдруг из зыбки послышалось кряхтенье, будто кто-то подымал непосильный груз. И сразу же раздалось недовольное фырканье, сменившееся крепким требовательным плачем.

На печке вскинулась незаметно прикорнувшая там старуха, хозяйка избы. Бормоча под нос, она, не слезая с печи, стала качать зыбку. Плач, однако, не утихал. Он, казалось, наполнял избу до краев. И такая была в нем сила, что спавшие до этого мертвецким сном офицеры и солдаты один за другим начали просыпаться. Из всех углов послышались протяжные зевки, кряхтение, кашель. Тут и там зауглились огни самокруток.

— Вот дает!

— Воздух!

— Сразу два сигнала играет — на побудку и на обед!

Комбат Сизов, почесывая грудь и широко зевая, усмехнулся:

— Это он нас приветствует, освободителей. И в нашем лице всю победоносную Красную Армию.

— Ох, господи, прости... — отозвалась тоскливым вздохом старуха.

Шутки как-то разом умолкли, и стало слышно, что ре-

бенок плачет теперь тише, видно, устал. В этом плаче уже не было требовательных ноток, а только жалоба — скорбная и безнадежная, бередящая душу.

Виктор невольно передернул плечами. Плач нарушал привычный ход мыслей, и слушать его было не просто неприятно — стыдно.

— Бабуся, а мать-то его где? — спросил он. — Жива ли?

Старуха снова вздохнула.

— Жива. Чего ей сделается...

— Так что ж это она, внука вам подкинула? Его ведь, наверно, кормить надо?

— Ну. Ись вон просит.

— То-то и оно. А мамаша его норовит с довольствия снять, — вмешался в разговор Сизов.

— Не знаю. Хоронится, поди, где-ко. Вас страшится.

Помолчав немного, старуха протяжно пробормотала:

— Ох, Господи, прости нас, грешных...

— Страшится, говоришь? А чего ей страшиться?

Все, кто был в избе, прислушивались к этому разговору. И только плач — по-прежнему безутешный, жалобный — нарушал настороженную тишину.

— Так ребенок-от фриценок...

Старуха произнесла это просто, без нажима, так, как сообщают соседке незначительную деревенскую новость.

Сизов помолчал и, не найдя, что сказать, легонько свистнул.

Старуха тоже замолчала, только сильней стала трясти зыбку.

Ребенок все плакал.

Другой стала тишина в избе. Виктор физически почувствовал, как она загустела. Вроде воздуху сразу стало меньше.

Кто-то коротко и зло выругался. И опять все молчали, придавленные этой гнетущей, недоброй тишиной. Только плач не изменился. Усталый и жалобный, он лился и лился, без конца. В нем Виктору почудилось сейчас равнодушие ко всему, что говорили и делали люди, заполнившие эту деревенскую избу.

Тяжело и неуклюже завозился в своем углу капитан Черноок. Он встал на колени, лицом к стене и, согнувшись, начал рыться в своем мешке. Потом сунул что-то за пазуху, выпрямился и с натугой, опираясь на стену, поднялся во весь рост.

Все смотрели на него. А он, не обращая ни на кого внимания, большой и звероподобный, шагнул к зыбке. Виктору бросился в глаза пистолет, висевший у Черноока на немецкий манер — спереди.

Низко нагнувшись над зыбкой, капитан запустил в нее длинные руки.

Запоздалое движение, словно ветерок по камышам, прошло по людям. Кто вытянул шею, кто приподнялся, кто сжал кулаки... Только бабка, не знавшая Черноока, равнодушно продолжала трясти зыбку.

Черноок выпрямился, держа на отлете шевелящийся сверток. Неуловимым движением сбросил на пол серую тряпичку. И тут же уложил продолжавшего плакать ребенка обратно. Потом вытянул из-за пазухи длинную новую портянку и вновь склонился над зыбкой.

Все это делалось быстро, ловко, можно сказать, привично. И когда Виктор потом вспоминал эту сцену, в памяти больше всего удержалось именно это впечатление — Черноок делал привычное для него дело.

Но сейчас Виктор еще не думал над этим. Он просто перевел дух. И по людям вновь прошло движение, каждый невольно шевельнулся, будто освободившись от большого груза.

Капитан между тем вновь выпрямился, прижав к груди сверток, на этот раз белый. И сразу же начал раскачиваться, баюкая ребенка, продолжавшего плакать устало и безнадежно.

— Силен... — начал было комбат Сизов, но тут же оборвал фразу: Черноок запел. Запел ту самую колыбельную песню, которую слыхал, наверно, каждый из находившихся здесь.

Люли, люли, люленьки,
Налетели гуленьки...

Пел капитан негромко, монотонно, терпеливо. Пел, называя один за другим незамысловатые куплеты, не повышая и не понижая голоса.

Как кот кошке
Перешел ножки.
Кошка плачет и ревет,
Сыну спать не дает...

Все молчали. Только изредка кто-нибудь сдержанно кашлял в кулак, да время от времени вздыхала на печи бабка.

Плач начал стихать. Вскоре в нем появилась недолгая пауза. За ней последовал новый взрыв, быстро, однако, прекратившийся. Еще раза два раздалось недовольное пофыркивание, и стало тихо.

Черноок приглушил голос и напевал уже без слов, сильно растягивая конец каждого куплета. Когда ребенок затих, капитан перестал раскачиваться и прислушался. Вместе с ним невольно прислушивались и остальные. И снова изменилась тишина. Теперь она была заботливой, добродушной и снисходительной.

Бережно уложив ребенка, капитан сел на лавку рядом с Виктором. Он не улыбался, но черты его лица стали мягче, исчезла угрюмость, да и глаза стали веселее.

Покосившись на Виктора, Черноок слегка прищурился, отчего лицо стало немножко озорным.

— Знаешь, брат, тут целая наука, — вполголоса забасил он. — Тут главное однообразие чтобы было, монотонно нужно петь. Безотказно действует. Я, бывало, на спор с женой усыплял...

Виктор только хмыкнул в ответ, а Черноок, отведя глаза, бросил уже другим тоном:

— Курить-то тоже лучше выходить. Надымили...

Солдаты потянулись к дверям один за другим, на ходу набрасывая на плечи шинели и стараясь не шуметь.





● СТАРЫЕ МОЛОЖАНЕ

«Военный совет» провели ночью, после того как накормили всех жителей — и ребят, и женщин, и старика. Ребята улеглись за печкой, женщины сидели около них, о чем-то переговариваясь шепотом. Старика пригласили к столу, на котором Пермяков развернул карту.

Старик был древний, ветхий, но соображал хорошо. Да и карта попалась свежая, составленная незадолго до войны. И вскоре Пермяков разговаривал со стариком так, словно сам издавна жил в этих местах, уверенно называя деревни, ручьи, дороги, просеки, даже изгороди.

— Значит, Старые Моложане... — задумчиво проговорил старший лейтенант.

— Они, милый, они, — откликнулся старик. — На самом угоре. Речка-то, ты правильно говоришь, с этой, с нашей стороны. Небольшая речка, Редья называется. Деревня бо-о-льшая была. Да спалил немец, начисто спалил. Кто где — и не знаем сейчас. Мы вот здесь прячемся...

Комбат Михайлов, грузный, черный, громко крякнул и прилепнул по карте.

— Заманчиво, а, начальник штаба? — прогудел он. Пермяков в ответ неопределенно хмыкнул. Он и сам видел, что заманчиво. До деревни — лесной массив, ки-

лометров семь. Деревня на высотке, господствует над местностью. Лес на карте зеленым языком огибает деревню с севера и выходит на крупное шоссе. А немного в стороне — перекресток, еще одно шоссе. Оседлать бы этот перекресток или хотя бы занять деревню, чтобы контролировать огнем большое пространство... Да, заманчиво! Игра, как говорится, стоит свеч.

Ему не хотелось сейчас вот так взять и сказать свое мнение. Да оно еще и не сложилось окончательно. Но он видел, скорей чувствовал, что командира батальона уже захватила идея внезапного удара, что ему хочется вырваться вперед, отличиться. Самолюбивый, черт его дери, комбат. Впрочем, не самолюбивых командиров, кажется, не бывает...

Если разобраться, то дело-то очень уж рискованное. Соседи где — неизвестно, артиллерия отстала, и даже штаб полка неведомо где болтается... А ведь нужно и боеприпасы подвезти, и солдат накормить, и тылы подтянуть.

Вслух Пермяков ничего этого не сказал. Он только молча смотрел на карту. Деревня Старые Моложане была на краю листа. Черненькие прямоугольнички домов, несколько черных квадратиков вдоль дороги — сараи. Синяя змейка реки... Условность... А на самом деле — что?

Примостившийся в углу землянки радист вдруг хрюпло, видно со сна, выкрикнул:

— «Кама» слушает!

Комбат встал и направился к нему: хорошей связи с полком весь день не было. Слушая, как он докладывает обстановку, а потом помогая найти на карте нужные закодированные квадраты, высоты, отметки, Пермяков понял, что внезапная атака на рассвете — дело уже решенное. Комбат изложил командиру полка в общих чертах свой план, заручился согласием, успел кое-что попросить.

И вдруг в его низком, гудящем голосе зазвучали такие нотки, что Пермяков посмотрел на него с удивлением.

— То есть как... — гудел Михайлов. — Откуда? Кто ее пустил? Да... Как поняли?.. Прием.

Получив, видимо, в ответ нелестный отзыв о своей сообразительности, он тем не менее рискнул еще раз попросить разъяснений:

— Понимаю, товарищ десятый... То есть, ничего не понимаю... Как поняли?.. Прием.

После этого слушал еще несколько минут, потом коротко бросил в трубку «vas понял», снял наушники, отдал их радиству и уставился на Пермякова.

Все, кто были в землянке, молчали. Чувствовали, что

комбат сейчас сообщает что-то необычное. А он, по-прежнему глядя на Пермякова, отрывисто спросил:

— Ты лейтенанта Высоцкого знаешь?

Да, Пермяков знал такого. Командир взвода, прибыл недавно, дней десять-двенадцать назад. Из училища. Высокий, крепкий, чернявый парень. Лицо смуглое и будто чуть лоснится. Еще запомнился тем, что затянут в офицерские ремни. Полную «шлею» имеет. Даже завидно стало. Красиво все-таки.

Не дожидаясь его ответа, Михайлов заявил:

— К нему мамаша приехала. Понял?

Пермяков хмыкнул. Мамаша? Мать? Это как? И спросил первое, что пришло в голову:

— Откуда?

— Из Москвы, говорят. Вот, брат... Встречать велено.

Связисты кабель тянут, так она с ними идет.

— Да как она сюда попала? С делегацией, что ли?

— Это, брат, у нее спроси. Ни с какой не с делегацией. К сыну приехала. Мать, она все может. — И Михайлов раскатисто хохотнул. — Ну, чего уставился? Вызывай лейтенанта, раз такое дело.

Землянка как-то разом опустела, стало тихо. Только что было народу — не протолкаться. А сейчас землянка вроде даже просторней стала. Связисты прикорнули по

углам у двери. Ребятишки и женщины не видны за печкой. Только борода деда белеет. А у стола — трое. Пермяков сидит боком к столу, норовит не смотреть туда, где высокая полная женщина шепотом разговаривает с сыном, с лейтенантом Высоцким.

Женщина одета по-городскому. Белый пуховый платок она опустила на плечи. На ней темная доха, на стол она положила перчатки. Все это выглядит здесь, в землянке, не только непривычно, а как-то неправдоподобно. И даже сквозь запах застоявшегося махорочного дыма и сырости временами пробивается совсем уж чужой здесь аромат духов.

Вот женщина наклонилась ближе к сыну и что-то негромко говорит ему — быстро и, пожалуй, сердито. Крупные золотые серьги при этом раскачиваются и поблескивают.

«До чего ж похожи, — думает Пермяков. — Сразу скажешь, что мать и сын».

Лица женщины и лейтенанта Высоцкого освещены плохо, пятнами. Но это, наверно, только подчеркивает сходство. Оба высокие, смуглые, чернобровые, кожа на лицах чуть лоснится. Вот только губы разные. У матери рот крупный, губы полные. А у сына рот небольшой, и губы он немного поджал, они в ниточку вытянулись. Еще в детстве, наверно, так делал, когда упрямился.

Пермяков пишет боевое донесение о прошедшем дне, просматривает строевые записки из рот, а сам все время возвращается мыслями к тем, кто сидит по другую сторону стола.

«Как она добралась сюда? Ведь это... Нельзя ведь! Не каждого жепускают! Пробилась. По блату? Кто его знает... Не без этого, наверно. Но сумела-таки добраться. До самой передовой. Из Москвы...»

Что-то необычное есть в этой встрече матери с сыном. И дело даже не в том, что мать этого лейтенанта оказалась здесь, на фронте. Нет, не в этом дело...

Женщина снова зашептала. Лейтенант Высоцкий слушал ее молча и, судя по всему, не очень внимательно. Он сидел, облокотившись на стол и обхватив голову руками. Мать наклонилась к нему близко-близко, шептала в самое ухо. Со стороны казалось, что она заговоривает его, колдует.

Не прерывая шепота, женщина тронула сына за плечо. Он нетерпеливо, по-девичьи дернулся, повернул лицо к ней и довольно громко сказал:

— Никогда!

Мать испуганно выпрямилась, бросила быстрый взгляд на Пермякова, нахмурилась. Потом вновь нагнулась к сыну и что-то сказала ему. Он в ответ молча махнул рукой, ссутулился, вроде бы постарел.

Пермяков сложил бумаги в сумку и вышел. Ему просто невмоготу стал чужой разговор. У входа в землянку он долго курил и думал о том, какая беда могла пригнать эту нарядную, холеную женщину вот так, налегке. Ведь не с радостью же она приехала к сыну на фронт. Разговор-то, видать, у них не больно радостный. Большая, наверно, беда, если ее даже во время войны нельзя носить одной...

Тут, у входа в землянку, и застал Пермякова комбат Михайлов. Он чуть не натолкнулся на начальника штаба, и, отпрянув, сначала коротко выругался, а потом спросил:

— Чего стоишь?

Пермяков не сразу нашелся что сказать. Михайлов закурил трофеиную сигарету и задумчиво протянул:

— М-мда...

С минуту они стояли молча, каждый думал о тех, что сидят сейчас в землянке. А потом Михайлов озабоченно прогудел:

— Худо дело, начальник штаба. Боюсь, заблудимся в темном лесу.

Это же самое Михайлов повторил, когда они вошли в землянку и, потоптавшись у дверей, сели за стол.

— Худо дело. Темно...

Связной поставил перед ними открытую банку американ-

ской колбасы, кружки, котелок каши, нарезал хлеб. Когда появились ложки, комбат попытался изобразить что-то вроде вежливого полупоклона:

— Прошу с нами, — гудел он. — Скромный ужин, не обессудьте...

Полупоклон у него вышел смешной, неуклюжий. Пермяков, глядя на него, чуть не рассмеялся. Женщина молча поблагодарила кивком, а лейтенант Высоцкий, который встал при появлении командира батальона, да так и остался стоять, смущенно кашлянул. Было видно, что дисциплина крепко въелась в него.

Михайлов налил спирт, пододвинул каждому по кружке. Выпили молча. Спирт был зверски крепкий, у женщины перехватило дыхание. Она лихо тряхнула головой и показалась Пермякову в этот момент похожей на цыганку.

Комбат извинился за то, что не предупредил о крепости напитка, говорил еще что-то, но разговора так и не получилось. Женщина отвечала односложно, Пермяков и Высоцкий помалкивали. Михайлов тоже вскоре смолк, сосредоточенно хмурился.

В одну из затянувшихся пауз он посмотрел в угол, за печку, и негромко позвал:

— Дед, а дед... Дедушка! Иди сюда, погрей кости.

Дед зашуршал за печкой, покряхтывая, встал, вроде

бы засмущался, но от соблазна удержаться не смог. Шаркая валенками, подошел к столу, а когда пригласили, сел.

Спирт он выпил истово и закусывать не стал, только понюхал корочку.

Комбат посмотрел на него в упор и спросил:

— Слушай, дед, ты нас не сможешь выручить? Продовщика, понимаешь, нам надо. Темно, понимаешь, а дорог тут нет. Как бы не заблудились солдатики. Могут зря головы сложить.

Дед покачал головой и замер, глядя в пол. Комбат поглощал на скамейке и снова загудел:

— В лес нам надо, северней Старых Моложан. Вдоль дороги который...

— По какому можно к большой дороге выйти, — негромко поддакнул Пермяков.

— Вот-вот...

Дед глянулся на Пермякова, отвел глаза. Комбат плеснул в кружку спирту, подвинул ему. Дед погладил бороду, неторопливо взял кружку и так же неторопливо выпил. Потом отломил корочку, понюхал, поковырял ее в банке с колбасой, съел. Все молчали.

— А ежели... Ежели я откажусь, что будет? — спросил старик, ни на кого не глядя.

— Что будет, что будет... — Михайлов сердито встал,

сделал пару шагов по землянке. — Ничего не будет. Кровь лишняя будет.

— Нам, дедушка, исподтиха надо. Чтобы фриц не учаял. Мы его тогда врасплох захватим. И дальше погоним. — Пермяков наклонился к деду и проговорил все это опять же негромко, но твердо.

Дед шумно выдохнул и, не отвечая ему, посмотрел за печку. Оттуда послышался сдавленный вздох, похожий на всхлипывание.

Тогда дед сказал:

— Такое дело миром надо решать. Как люди скажут... Мы тут миром живем. Миром, значит... На миру и смерть красна.

— Ну, какая там смерть! — хохотнул комбат. — Проводишь нас — и домой. Провожатых дам.

Дед уклончиво промолчал. Пермяков дал ему закурить. Запалив самокрутку, стариk встал и, шаркая кривыми ногами, ушел за печку.

В землянке воцарилось молчание. Комбат стоял, заложив руки за спину и покачиваясь. Высоцкий сидел, напряженно выпрямившись, в глазах у него поблескивал интерес. Его мать, видимо, плохо понимала происходящее, переводила взгляд то на одного, то на другого. И Пермяков, продолжавший украдкой наблюдать за ней, подметил, как женщина начинает тревожиться.

Вот она хрустнула пальцами, вот плотней запахнула платок.

Она чувствовала, сердцем материнским чувствовала, что разговор идет о чем-то важном, касающемся ее сына. Она поняла, что помочь сыну может только стариk. И она повернулась в ту сторону, куда он ушел.

— Дедушка...

Голос у женщины был низкий, с трагическими нотками. — Вы согласитесь, дедушка... Сын вот у меня... Туда пойдет.

Пермяков лег в мягкий, сыпучий снег. Разгоряченный быстрой ходьбой, он не чувствовал холода. Низко наклонив голову и ощущая лицом покалывание снежинок, заполз под густую ель, осторожно приподнялся.

От опушки вниз, к дороге, уходила ровная поляна. Почти в центре ее горел громадный костер. Хорошо было видно, как в серое небо летят искры. В сторонке стояли лошади — не меньше двух десятков, парами запряженные в повозки на больших колесах. Вокруг костра грелись люди. Некоторые из них стояли, протянув к костру руки, несколько человек сидели на каких-то ящиках.

Вот они, немцы...

Один из них повернулся спиной к костру, задрал полы шинели и нагнулся, грея зад. Пермякову показалось, что этот немец смотрит прямо на него, и он невольно плотней вдавился в снег. А немец вдруг двинулся к опушке, на которой залег сейчас батальон.

У старшего лейтенанта напряглась спина. Он весь подобрался и успел подумать, что зря отдал связному автомат, когда полез под елку...

Немец в это время подошел к нескольким ящикам, лежавшим в стороне от костра, нагнулся над ними. И только сейчас Пермяков увидел, что рядом с этими ящиками стоит миномет. Немец достал из ящика мину, осмотрел ее и сунул в ствол миномета. Раздался не-громкий хлопок. Не проявляя никакого интереса к нему, немец тут же повернулся и пошел к костру. Старший лейтенант несколько минут прислушивался, стараясь уловить звук разрыва, но так ничего и не услышал.

«Для остротки стреляет», — подумал он и усмехнулся. В самом деле — куда фриц палит? В белый свет?.. К небу с присвистом и шипением рванулась ракета. Легонько треснув в вышине, она рассыпалась стайкой красных звездочек. Миг, один миг висела эта стайка неподвижно. И в этот миг над поляной, над лесом, над дорогой вместе с красными огоньками висела тишина —

густая, ватная тишина. Только искры над костром продолжали свою бесшумную пляску.

Но вот, сначала медленно, нехотя, а затем все быстрей и быстрей, полетели вниз красные огоньки, оставляя чуть заметные на фоне неба дымные следы. И тут же вокруг загремело, застучало, ухнул взрыв. Увязая в снегу, к костру бежали, стреляя на ходу, неуклюжие фигуры в белых маскхалатах. Брошенная кем-то граната угодила прямо в костер, и он выплюнул большой огненный ком.

Пермяков, пока выбирался из-под елки, приотстал. Когда, тяжело дыша, подбежал к костру, уже все было кончено. Еще раздавались отдельные автоматные очереди, еще трещали в лесу разрывные пули, но уже жались в кучу, подняв руки, десятка два немцев, одетых в грязно-зеленые шинели, уже крутился и рявкал около повозок комбат Михайлов, уже бежала цепь белых фигур к шоссе, уходившему темной лентой за лес.

Пермяков остановился рядом с повозкой. Одна лошадь из упряжки, видимо, вырвалась. Вторая же — большая, с гладкой гнедой шерстью — стояла, широко расставив ноги и низко опустив голову. Из ноздрей на снег часто-часто капала кровь.

Старший лейтенант побежал было к тому месту, где командовал, размахивая руками, Михайлов. И тут

услышал знакомый посвист пулеметной очереди. Пермяков остановился, пригнулся. И вновь раздалось злое посвистывание вперемежку с дробным стуком разрывных пуль.

Солдат, копошившийся у костра в нескольких шагах от Пермякова, попытался выпрямиться и кулем сунулся в снег. Одиноко дымившая в стороне головня вдруг подпрыгнула, словно живая, рассыпав несколько черных угольков. Раненая лошадь резко дернула кожей, попыталась взмахнуть головой и опустила ее еще ниже. Новый перестук пулемета тут же подхватывала дробь пулевых разрывов. Откуда шел этот огонь, определить было трудно.

Кинувшись к опушке, старший лейтенант на минуту остановился. Вот опять очередь, опять... Да, пожалуй, стреляют через лес, через этот узкий лесной язык. Надо что-то делать... Кинулся было навстречу выстрелам, но тут же остановился. Нет, так нельзя...

Выскочив обратно на поляну, Пермяков увидел то, что нужно: три солдата волокли станковый пулемет.

— За мной! — крикнул им на бегу старший лейтенант. Он огляделся, выбирая позицию, и решил поставить пулемет на небольшом пригорке около самой опушки.

— Крой туда! — махнул Пермяков. Солдаты тут же развернули пулемет, один из них лег на снег, взялся за

ручки. Длинная очередь отзывалась в лесу шелестящим эхом. Солдат, лежавший за пулеметом, вопросительно посмотрел на Пермякова. Старший лейтенант кивнул. Тогда солдат дал еще несколько очередей, поводя стволом то вправо, то влево.

Потом все четверо с минуту прислушивались. Выстрелов больше не было. Ни одного.

Тело лейтенанта Высоцкого Пермяков увидел сразу, как только спустился с пригорка. Лейтенант лежал на спине, широко раскинув руки — так, как рисуют убитых на картинках про войну. Шапка валялась рядом. Черные волосы, еще не потерявшие живого блеска, были гладко зачесаны назад, открывая широкий ровный лоб.

Пермяков не любил подходить к убитым. Не подошел и на этот раз. Постоял, посмотрел: как же это так? Ведь только что мать приезжала... И тут же вспомнилось: женщина наклонилась к сыну, шепчет ему в самое ухо, трогает за плечо. А он говорит: «Никогда!» Михайлов встретил начальника штаба шумно:
— Жив, курилка?! Вот и отлично! Скоро танки подойдут: я с батей связался. — И, не в силах сдерживать радости, хохотнул: — Партизан, партизан! Слыхал, как

орали? За партизан приняли фрицы. Сигарет тебе дали?
Нет еще? Сейчас принесут. На, кури!

Взяв протянутую комбатом пачку сигарет, Пермяков задумчиво сказал:

— Ты знаешь, Высоцкого-то убило...

— Что ты говоришь? Вот ведь как...

Они помолчали. К комбату подбежал связной, его вызывали к рации. Махнув рукой в сторону шоссе, Михайлов уже на ходу крикнул:

— Я буду в районе развилки. А ты иди в деревню, танки встречай. Приведешь их.

Отойдя несколько шагов, он вдруг остановился, повернулся к Пермякову:

— Старика-то тоже убило, слыхал? Отсылали его домой, так не ушел. Посмотреть, видно, хотел...

Еще раз зло махнув рукой, комбат тяжело зашагал к шоссе.

Пермяков несколько раз сосредоточенно затянулся, потом крикнул связного и пошел к голому белому холму, на склоне которого виднелось несколько опаленных, мертвых деревьев.

Он шел и думал, какое нелепое и какое русское название у этой деревни: Старые Моложане.





● БЛАЖЬ ДЕДА МАТВЕЯ

Они сидят вдвоем на кухне, не зажигая огня. Деду Матвею не видно лица Шуры, но он ясно представляет, какие у нее сейчас глаза — жалостливые, со слезинкой. Шура рассказывает деду о раненых. Их у нее на попечении много, дед не может всех упомянуть. Но кое-кого он все же запомнил и время от времени спрашивает: — А как тот лейтенант, безногий? Скоро выпишется? А старшина обожженный? На фронт уехал или по чистой?

Шура отвечала ему обстоятельно, с подробностями. Дед слушает молча, изредка кивает в темноте.

Стар дед Матвей, очень стар. Незнакомым любит говорить, что ему за сто. Но это уж он привирает. На самом деле ему около восьмидесяти.

Годы согнули деда, обветшал он. Ноги плохо слушаются, руки трясутся. Видит худо и ходит худо. Но голова у него еще светлая и память цепкая.

Шура приходится ему какой-то дальней родственницей, и не разобрать — какой. Выучилась она на медсестру и приехала сюда, в поселок, прошлым летом. Дед вековал один после смерти жены, у него и поселилась. Года не прожили — война.

Шура сутками пропадала в госпитале, что разместился

в новой школе. Домой забегала редко. На скорую руку готовила что-нибудь поесть, скоблила полы, перемывала посуду. Потом сумерничала с дедом, сколько могла, и заваливалась спать.

Жизнь в доме шла какая-то рваная, неуютная. Дед скучал, от скуки его больше одолевали хворости — то поясницу заломит, то суставы заноют. Сидел целыми днями у окошка, накинув на плечи полушубок, да колупал пальцем лед на стекле, норовя поглядеть, что на улице делается.

Но и на улице веселого мало. Мужики, которые не в армии, целыми днями на заводе. Пробегут ребятишки в школу, баба с ведрами пройдет — и вся жизнь...

Вот когда Шура появляется, тут скучать некогда. Она его то на печку прогонит, чтобы не мешал пол мыть, то попросит бересты заготовить — огонь растапливать, то еще какое-нибудь заделье придумает. Ворчит дед тихонько, но доволен. Все эти мелкие заботы создают привычное ощущение семьи. И беседы по вечерам, когда сумерничают они, — тоже.

Шура говорит быстро, громко. Увлекаясь, она всплескивает руками, грозит кому-то пальцем, вздыхает. Все большие и маленькие события госпитальной жизни волнуют ее: бывает — огорчают, бывает — радуют.

Сегодня Шура рассказывает деду о четырнадцатой па-

лате. Дед уже многое знает об этой палате. Что она самая маленькая, раньше в ней был школьный врачебный кабинет. Что лежат в ней всего трое. Что лежат они четвертый месяц. И что ранены они все очень-очень тяжело.

— Капитан с утра все злился, а перед обедом ка-ак захохочет. Самокрутку в первый раз скрутил. Сколько учился — трудно одной рукой-то... Садиться сам начал. Скоро, видно, вставать начнет.

Шура рассказывает, дед слушает. Слушает и представляет себе капитана — черного, сердитого мужика со сросшимися бровями. У него нет левой руки, перебиты ноги и ребра. Он, бывает, взрываются, однажды в Шуру миской бросил. Извинялся потом...

— Васеньке письмо пришло. Он теперь веселый, целый день костылями постукивает. Доктор говорит, что у него дела в гору идут...

И Васеньку — общего любимца — дед хорошо представляет себе. Белый, круглоголовый, простодушный архангельский парень. Разговаривает певуче, в обращении ласковый...

— ...Удивил. Помоги, говорит, сестрица, приподняться, в окошко посмотреть. Я ему шею подставила, да и руками помогла. Он смотрел-смотрел и спрашивает: «Это что, река?» Нет, говорю, пруд это заводской. Он тог-

да помолчал и опять спрашивает: «А рыба в нем есть?» Не знаю, говорю, наверно, есть. Он улыбнулся маленько, вздохнул так да и укорил: «Эх ты, а еще здешняя». И откуда он знает, что я здешняя?..

Дед Матвей стар и мудр. Он хорошо понимает, отчего у Шуры, когда она рассказывает об этом лейтенанте, голос или строгий, или безразличный, или, как вот сегодня, немного растерянный. Нет, дед не станет удивляться тому, что лейтенант знает кое-что про Шуру. Хоть и раненный тяжело, так, поди, тоже не чурка с глазами.

Вот только представить его дед никак не может. Наверно, потому, что Шура рассказывает о нем меньше, чем о других. Молодой. Из Ленинграда. Писем не получает... Ростом-то хоть каков? Не говорит Шура об этом, ни словечком не обмолвится.

И с чего он про рыбу спросил? Вот уж непонятно. Обычно он, как Шура сказывала, помалкивает больше. А когда боль к нему приступает, норовит петь тихонько, под нос...

Утром, когда Шура уже начала толкать плечом забухшую дверь, дед, откашлявшись, прохрипел вслед:

— Ты спроси-ка все ж, зачем он про рыбу интересуется.

Шура ничего не ответила.

— Ошалел ты, старый кочень! Ошале-ел! — Соседушка деда Матвея даже сплюнул в сердцах, когда дед попросил у него пешню. — Я, однако, лет на пятнадцать тебя помоложе и то не помышляю. Ку-уда!

Дед слушал с усмешечкой, а когда тот замолк, спросил его с подковыром:

— Жалко стало?

Соседушка снова было затараторил, потом на секунду примолк и спросил уже другим тоном, участливо:

— Может, того... кушать нечего стало?.. Так уж пособим по-соседски. Картошки там или еще чего...

Дед Матвей только фыркнул. О чем он толкует? Что, у него у самого картошки нет, что ли? Или сосед не знает, что они с Шурой огород убрали вовремя? Пусть лучше не виляет, а сразу скажет, даст пешню или нет.

Чтобы не нести пешню, дед кинул ее через забор к себе во двор, степенно откашлялся и ушел домой. А дома, раздевшись и привалившись спиной к шершавой и теплой печке, долго сидел и думал.

Январь стоит морозный, лютый, с ветрами. Для рыбаки самое мертвое дело. И лед сейчас толстенный —

хватит ли силенок продолбить его? Ну, ладно, одну лунку, не торопясь, осилит. А ежели в ней никто не клюнет? Молодой был и то в январе редко на лед вылезал. Лунок надолбившись досыта из-за двух-трех окуньков... Ох, лучше бы не ходить никуда, дома сидеть. В тепле. Какой из него теперь рыбак — горе одно. Лет, поди-ко, двадцать на зимний лов не хаживал...

Мысли текли неторопливые, и все какие-то мелкие. То вдруг вспомнилось, что не худо бы рукавички пришить на тесемку, а тесемку закинуть на шею. Удобней будет, не отлетит рукавица далеко, да и нагибаться за ней не нужно. То подумалось, что вот отdeva у него нет и ни-почем его сейчас не сделать...

За всеми этими мыслями стояла одна, главная. Вернее даже не мысль, а вопрос, на который деду Матвею ответить было трудно, а точней сказать — невозможно. Почему он решил, что этого молчаливого лейтенанта, который спросил, есть ли в пруду рыба, обязательно нужно угостить ухой? Ну с чего, в самом деле, он это взял? Нет, не мог ответить дед Матвей. А рыбы наловить на уху для раненого ему очень захотелось.

Может, потому, что вспомнил о покойной жене, уверявшей, бывало, что горячая уха — целебное средство. И голос Шуры, чуть изменившийся, когда она стала рассказывать о лейтенанте...

А может, и просто блажь накатила. Смолоду с ним так бывало...

Поразмыслив, дед начал собираться. Делал он все неторопливо, обстоятельно, с оглядкой. Достал легкие санки, привязал к ним ящик. В ящик поставил чугунок с угольями, насыпал сухих сосновых шишек, которых еще в августе набрали они с Шурой в лесу на другом берегу пруда. Два раза на лодке ездили. Зато самовар кипятить — любо-дорого.

Спичек дед приготовил два коробка, в чугунок сунул кусок сухой бересты. И лишь после этого сел перебирать снасти.

Испокон века хранились они в большой коробке с выдвижной крышкой. Давно не брался дед Матвей за нее. Ох, давно! Но по-прежнему аккуратно лежали в ней свернутые кружками волосяные лески, в особых отделениях — крючки, грузила, поплавки. Отдельно лежали зимние блесны, или, как их звали местные рыбаки, — пресовы. Большая часть блесен была из красной меди, она покрылась зеленым налетом. Но было несколько блесен, сделанных из царских серебряных рублей. Они хоть и потускнели, но еще поблескивали.

Весь день провозился дед со сборами. Приготовил одежонку, сварил картошки, почистил и привязал блесны. И красные шерстинки не забыл надеть на самодельные,

без бородок, крючки. Одним словом, снарядился толково, по-рыбацки.

Вечером, уже в сумерках, дед вволю напился чаю, заедая его холодной вареной картошкой, которую макал в соль. И после этого полез на печь, дожидаться утра. Шура ночевать не пришла, дежурила в госпитале. Дед спал урывками, часто просыпался и подолгу смотрел на бледный лунный прямоугольник на полу. Он перемещался медленно, и казалось, ночи не будет конца.

А когда забывался в полудреме, все виделся ему пруд — летний, сверкающий. У берегов волнами ходила под ветром осока, медленно кружил над водой коршун. И, будто в детстве, загадывал Матвей: поймает коршун рыбу, и я тоже поймаю...

Вся жизнь прошла на этом пруду. Чаше, наверное, на лодке плавал, чем ходил. И на покос, и за дровами, и рыбачить, знамо дело. Да и все тут в поселке так жили. У каждого лодка, а то и две. Ребятишки и ныне все лето на воде пропадают.

Первая лодка, еще отцовская, дед хорошо помнит, черная была, смоленая. Вот и сейчас ее видит: нос высокий, и борта высокие. Нешибко ходила, зато поднимала много...

Парнем стал — свою лодку завел. В зеленый цвет покрасил. А концы у весел красные сделал. Фо-о-рсил!

Меньше, знать-то, рыбачил, чем девок катал в хорошую погоду. Много по вечерам лодок выезжало. И компаниями катались, с гармошками, с гитарами, и парами, конечно. Матвей в компании кататься не любил. А вот гонки когда устраивали — на тот берег и обратно — всегда норовил первым пригrestи. Чего уж теперь греха таить — любил покрасоваться. В глазах аж темнело, так старался.

Тут, на пруду, и Лизу свою заприметил. И раньше ее знал, да не так смотрел. Хороший тогда день был окуния ловить: ветер беляки по пруду гонял. А матери присчило на тот берег за вениками ехать, пришлось ее везти. Уже когда обратно плыли, догнали лодку, Лиза одна в ней управлялась. Ветрище, волны хлещут, девчонка, видать, растерялась малость. Но виду не подавала, упрямо так глянула. Лодка у ней была большая, неуклюжая, что завозня. Весла тоже большие, толстые. Она и обхватить-то их толком не могла. Как-то сразу в глаза бросилось: руки тоненькие, загорелые, вцепились в грубые весла... И верно — маленькие руки были у Лизы. Под старость жилами набрякли, а все равно маленькие остались...

Вздыхал дед, ворочался с боку на бок, несколько раз вставал, пил воду — еле домыкался до предрассветного часа.

Там, где громадный заводской пруд — километров семь в длину да километра два вширь — начинает сужаться, там выходит к берегу еловый, с примесью пихтача, лес. В поселке его зовут Черным. Он и вправду черный — мрачноватый, без веселых берез и осин, кондовый. В одном месте коренной берег подходит вплотную к невысокому обрыву, на котором дыбится лес. Обрыв крутый, и даже сейчас, среди зимы, выделяется голым серо-желтым пятном.

Здесь, под обрывом, яма. Глубокая яма, узкая и длинная. Она образовалась, видимо, тогда, когда поднявшаяся вода затопила одну из стариц.

Раньше дед Матвей знал и вход в яму, и выход из нее. Бывало, попадал на место безошибочно, особенно летом. Но вот сейчас...

Дед присел на санки. Отдохнуть надо, как-никак, километра четыре отмахал. Да и темновато еще. Из дома вышел раным-рано, не хотелось лишний раз повстречать кого-нибудь. Начнутся спросы да расспросы... А что им отвечать, любопытным-то?

Первую лунку он решил продолжить на выходе из ямы. Там, помнится, иногда очень удачно получалось. Только где он ныне, выход? Да и есть ли вообще яма? Мо-

жет, давно илом затянуло все, замыло... Но делать нечего: назвался груздем — полезай в кузов.

Рассвет надвигался нехотя, день обещал быть вьюжным. Ветер пока тянул слабо, но по тому, как нависали тучи, было видно, что он еще разгуляется.

Пешню себе сосед сработал добрую. Дед Матвей оценил ее с первых же ударов. Лед откалывался легко, крупными кусками. Дед тюкал не торопясь, но дело шло довольно споро.

Вода ворвалась в лунку с тихим журчаньем и быстро заполнила ее до краев. Лунка стала темная, таинственная.

Руки у деда и без того тряслись. А сейчас, когда пешней намахался, с трудом совладал с ними. Серебряная блесна юркнула в лунку, на миг очертания ее расплылись в большое блестящее пятно, и тут же она исчезла совсем.

Рыбачил дед по старинке. Насадки никакой на блесне не было — ни червя, ни мотыля, ни мормыша, только шерстинка красная болталась. Удочка деревянная — ручка из березы, а наставыш — из вереса. Опустив блесну почти до дна, дед резким движением поддергивал ее. Потом, выждав, когда блесна свободно повиснет на лесс, вновь и вновь повторял резкое подергивание.

Время шло, первый азарт выдохся. Дед почувствовал, как ветер начинает искать щелки в одежде. Тягучий рассвет незаметно уступил место мутноватому, затянутому белой пеленой январскому дню.

Терпение у деда было старицкое. Подставив ветру согнутую спину, он сноровисто дергал удочку, не замечая или стараясь не замечать ничего вокруг.

Любил он раньше зимнюю рыбалку пуще летней. Летом волей-неволей приходилось и сетями пользоваться — впрок рыбы засолить, гостей встретить. Не всегда ведь удочки да блесны выручить могли. А сетями разве ловля? Так, вроде бы на работу сходил.

Зато уж зимой дед Матвей в королях ходил. Зимой супротив его никто из поселковых рыбаков устоять не мог. Одно время он тайком даже записи вел: сколько поймал, сколько другие поймали, баланс подводил. И посмеивался, бывало, к весне — куда им!

Припомнилось, как однажды за день поймал семь щук. Добрый был денек! Дед тогда на радостях порядком выпил, но даже выпивши не хвастал. Надобности не было. И так весь поселок знал о его удаче.

А однажды по тонкому льду (потрескивал ледок-то!) он перешел Каму и на той стороне, в одном из небольших озер, каких много в заболоченной пойме, начистил два ведра окунишек. Невелики, правда, были окуниш-

ки, но зато сколько их!.. Черные окуни, в торфяной воде жили...

Ветер разгулялся, начал подвывать. Поднятый им сухой снег быстро забивал лунку. Вода на глазах густела, а потом и вовсе пропадала, прикрытая мокрой снежной кашей. Дед изредка чистил лунку, но ее быстро замечтало вновь.

Нужно было менять место. Дед Матвей зябко поежился: не хотелось бродить по ветру, не хотелось долбить новую лунку. Сидеть бы так и сидеть. Вроде пригрелся даже... Кто ее знает, рыбу-то, где она бродит. Может, сюда и приплывет.

Кряхтя, поднялся дед с санок, побрел к берегу. Сломив несколько веточек ивняка, пришел обратно и воткнул ветку у лунки, метку поставил.

Место для второй лунки он выбирал долго. Боялся ошибиться, боялся попасть на мель. По его расчетам, рыбачить надо было на глубине.

На этот раз он уже не радовался, что пешня ему досталась такая прикладистая. А когда додолбился наконец до воды, сразу рыбачить не смог — минут пять сидел на санках, отдыхал.

Снова, раз за разом, дергал дед удочку, но уже как-то вяло, без надежды. Да и то сказать — какая уж тут надежда... Ветер не стихал, наоборот, подвывал все

сильней. Лунку задуло в момент, но чистить ее уже не хотелось.

Когда перевалило за полдень, дед Матвей решил попытать счастья еще раз. Он уже не выбирал место так тщательно. Просто пошел к первой лунке и остановился, не дойдя до нее шагов двадцать-тридцать.

Силенок вроде уже не было вовсе. Пешня тыкалась в лед, почти не оставляя следов. Несколько раз присаживался он отдохнуть, но не отступил. В конце концов опять зажурчала в лунке вода.

Начав рыбачить, дед к огорчению своему обнаружил, что попал-таки на сравнительно мелкое место. Метра полтора от силы была глубина подо льдом. Вздохнув, он стал подматывать лишнюю лесу. Когда подмотал и подергал удочку несколько раз, решил попробовать класть блесну на дно. Однако лесы не хватало. Так и получилось — то ложится блесна на дно, то лесы не хватает.

Дед вяло размышлял: почему бы это так? И решил, что под лункой или коряга, или кромка русла. Последняя мысль настораживала. Как-никак, кромка — лучшее место. Отмотав немного лесы, он начал дергать посильней.

Долбя лунку, дед вспотел, и сейчас его стало знобить. Он знал: надо бы развести в чугунке огонь, надо бы

шоесть — слабость чувствовал. Но шевелиться не хотелось, вовсе не хотелось.

Встав, он потоптался на месте, сделал резкий взмах и тут услышал, почувствовал, всем своим существом понял, что на блесну села рыба. В момент скинув рукавицы и мягко перебрав лесу, он поднял над лункой изогнувшегося дугой окунька. Торопливо стал снимать его и только тут заметил, что рыбу он забагрил, поддев крючком за нижнюю губу.

Отбросив окунька, дед быстренько сунул блесну обратно в лунку. Пойманный окунек тяжело ворочался в снегу, а дед поглядывал на него, чуть усмехаясь. Окунь, хоть и не сильно большой, но все же подходящий. Вот таких бы и надо-то для хорошей ухи несколько штучек. Всего-то...

Второй окунь взял минут через десяток после первого. Взял по всем правилам, тяжело «придавив» в тот момент, когда блесна свободно висела на лесе. Этого тащить пришлось осторожней — покрупней был, уже настоящий горбач. Выброшенный на снег, он сначала высоко запрыгал, а потом лежал, подняв кверху дрожащий оранжевый хвост.

На него дед уже не смотрел. Он весь подобрался, готовый в любой момент сработать удочкой. Ждал настоящего клева...

Вроде бы ничего не изменилось. Все так же задувал ветер. Все так же нависали торопливые низкие тучи. Но, оглядевшись, дед почуял близкий конец дня.

Клева настоящего он так и не дождался. И все же, переходя временами от лунки к лунке, сумел поймать семь окуней. Два крупных, один так себе, остальные — ничего, ровнячок.

Собирался дед неторопливо. Да и не мог быстро. Уложив поклажу и привязав пешню на длинной веревке к задку саней, он еще раз присел. Достал из-за пазухи три вареные картофелины, из кармана — завернутый в тряпичку кусок хлеба.

Жевал медленно, стараясь согреть во рту холодный хлеб, и когда кончил есть — совсем замерз. Надел через плечо лямку от саней, пошел.

Ветер дул теперь сбоку, норовя сбить с пути. А путь был не близкий — только по льду надо было прошагать километр, да еще по дороге километра три.

Местами идти было легко, наст выдерживал. Но чаще он оседал под ногами, ноги вязли, их приходилось вытаскивать, и шаги получались маленькие.

Дед тащился медленно, хотя и без остановок. Ему было тяжело, он задыхался, хватал ртом холодный, колю-

чий воздух. Казалось, что ветер выдувает воздух изо рта, поэтому его и не хватает.

Спина вскоре стала мокрой, а щека, в которую дул ветер, сильно мерзла, дубела, и глаз все время слезился. Дед временами тер щеку, но идти так было неудобно, и он опять двигался вперед, опустив руки.

Несколько раз дед спотыкался, несколько раз падал. Поднимался тяжело, опираясь рукой о колено. И снова брел, согнув спину и низко опустив голову, подаввшись вперед, как бурлак.

К берегу он добирался уже в сумерках. Берег был невысокий, но около него намело столько снегу, что дед стал вязнуть почти по пояс. Сделав несколько шагов, по-журавлиному подымая ноги, он чуть подгибал коленки и садился прямо на снег. Мыслей у него не было, осталось только тупое желание двигаться.

Шаг... другой... третий... Остановка. И опять шаг за шагом. И опять приходится садиться на снег. И опять нужно идти.

Уже вылезая на берег, дед сунулся вперед, упал. Руки глубоко увязли в снегу и не находили опоры. Ноги тоже увязли, подтянуть их, чтобы встать на колени, он никак не мог. Барахтался долго, пока удалось лечь сначала на бок, потом на спину. Сейчас встать было легче,

но дед умаялся вконец и лежал, закрыв глаза, пока не отдохнул.

Поднимался он с трудом. А потом вновь побрел вперед. От берега до дороги было недалеко. Но дед уже потерял счет и времени, и расстоянию. И когда наткнулся сначала на придорожные кусты, а пройдя между ними, почувствовал под ногами твердую землю, то даже удивился на миг, потом уж обрадовался.

Зато уж обрадовался дед Матвей здорово. Вроде и усталость меньше стала, хотя ноги и дрожали, а живот втянуло. Теперь он твердо верил — до дому доберется. Теперь — другое дело!

Дорога была прямая, хорошо укатанная. Ветер дул в спину, помогал. Дед уверенно шаркал калошами, прикидывал в уме, как ему распорядиться рыбой.

Четырех окуней, пожалуй, можно будет сварить самим. Ему, деду, много ли надо? Самого маленького да среднего одного. Шуре — большого и среднего. А из большого и двух средних для одного человека может выйти добрая уха.

Когда замелькали огни поселка, дед Матвей, сам того не заметив, пробормотал вслух:

— Для одного до-обрая уха будет. Вполне!



● ЛИНИЯ СВЯЗИ

Темнота была густой и вязкой. Казалось, даже сырой и тяжелый воздух окрашен в черный цвет. Темная ночь, темный лес, дождь, ветер — все это тревожило, заставляло до одеревенения в затылке прислушиваться к неясным шумам и шорохам.

Шедший впереди связной остановился, высморкался и начал сбрасывать с плеч стоящую коробом накидку. И тут же ветер донес острый запах древесного дыма. Пришли.

Николай снял автомат, пошевелил затекшим плечом, огляделся. Темнота по-прежнему была густой, но здесь, у входа в землянку, она уже не пугала, не настораживала. Здесь по каким-то неуловимым признакам угадывалась жизнь, тепло.

За лесом вдруг вспыхнул, разгораясь, белый огонь. На небе стали видны рваные куски низких темно-серых туч. Не в силах пробить их, огонь затрепетал, забился и погас, чужой и холодный. Через секунду такой же огонь вспыхнул и затрепыхался чуть левей. Потом еще один — правей.

Часовой у входа в землянку кашлянул, переступил с ноги на ногу и неуверенно, будто стесняясь чего-то, протянул тенорком:

— Све-етит...

Николай кивнул. Ему подумалось, что часовому очень тоскливо стоять здесь, в темноте, одному. Шевельнулось в душе желание как-то подбодрить его, но подходящие добрые слова затерялись, так и не пришли на ум. В землянке было дымновато, тепло и сухо. У ребристой чугунной печки сидели несколько связных и телефонистов. Солдатский разговор, когда вошел Николай, разом оборвался. Кто-то пододвинул поближе к печке большой чурбан. Николай не глядя отдал автомат одному из связных, медленно стянул сырой ватник, сел на чурбан.

Он не любил носить плащ-палатку и сегодня промок до костей. Собственно, нужно было снять и гимнастерку, и нижнюю рубаху — все ведь вымокло, — но прежде хотелось освободиться от тяжелых, вымазанных оконной глиной сапог.

Управившись с ними, Николай протянул к печке озабоченные руки. Кожа быстро сохла, и пальцы стало неприятно стягивать.

Посидев несколько минут, он резко поднялся и прошел в закуток, отгороженный подвешенной к бревенчатому потолку плащ-палаткой. Здесь было не так жарко и значительно чище. По бокам небольшого столика — две лежанки. Стены, потолок и лежанки обтянуты плащ-палатками. На столе — телефонный аппарат, малень-

кий немецкий светильник и пепельница, сделанная из консервной банки.

Присев к столу и взяв трубку, Николай крикнул телефонисту:

- Соедини меня с батей!
- С которым, товарищ начальник штаба?
- С Богданом.

Кроме командира полка, «батей» звали еще начальника оперативного отдела полкового штаба, капитана Богдана, бывшего учителя. Неизвестно, кто дал ему это прозвище, но оно было подходящим. Вислоусый, сутуловатый капитан выглядел по-граждански, был добродушным и заботливым.

Услышав в трубке его глуховатый басок, Николай заговорил:

- Шестнадцатый докладывает, с «Волги».
- Слушаю, дорогой, слушаю.
- Что, донесение тебе со связным посыпать? Погода уж больно пакостная. Может, по телефону примешь? Я зашифрую...

Батя Богдан панически боялся шифрованных текстов и недовольно забубнил:

- Перепутаешь... Эту цифирь потом до утра разгадывать придется.
- Я не цифрами... Я так...

— А-а, — обрадованно протянул капитан. — Тогда давай, сыпь.

— Противника ведь можно не шифровать? По уставу разрешается...

— Можно! Он и так знает, что у него делается, не хуже нас с тобой.

— Так вот, противник, сволочь, занимает оборону на прежнем рубеже. С шестнадцати десяти до шестнадцати сорока вел артиллерийскую стрельбу средними калибрами по площадям. Куда, ты сам знаешь.

— Знаю, будь спокоен...

— У нас все нормально. Черных нет, красный один и зеленый один.

— Какой?

— Зе-ле-ный!

— Это что еще за фокус? Дезертир, что ли?

— Да ну, батя, чего ты городишь! Недогадливый какой! Больной, понял?

— Больной? — облегченно переспросил Богдан. — Тогда ясно. Все? Давай воюй.

— Ага, начинаю торопиться.

Николай откинулся к стене, сцепив руки за головой, и долго сидел неподвижно, вспоминал, как недавно обходил траншеи. Командир четвертой роты Важенин сидел в своем блиндаже с перевязанным горлом.

— Так и живем, — сипел он. — Вода сверху, вода снизу, вода спереди и вода сзади.

Его связной в это время ведром выливал воду, накопившуюся под настилом на полу... В землянке командаира взвода лейтенанта Сибирякова чистый столик и на нем фотография девушки, прислоненная к снарядной гильзе. Гильза новенькая, блестящая, и фотография тоже новая, не захваченная. А по стенам землянки сочились грязные капли...

Огонек светильника казался неподвижным. Только кошель едва заметной струйкой тянулась вверху. Николай вытащил из кармашка брюк большие часы, взглянул на них. С минуту колебался, потом решительно взял трубку телефона.

— Крутани-ка там, слышишь? — крикнул он, приподняв палатку.

У печки, где шумели и смеялись солдаты, стало тихо. Телефонист долго крутил ручку, а потом о чем-то разговаривал с промежуточной станцией, кого-то разыскивал.

Николай прижал трубку к уху. Слышны стали шумы, слабые щелчки и нежное попискивание. Где-то далеко зазвучала невнятная человеческая речь, а потом ее сменило какое-то завывание.

И вдруг, покрывая весь этот хаос слабых звуков, далекий девичий голос приветливо произнес:

— «Дон» слушает!

Николай секунду помолчал, смущенно кашлянул:

— Здравствуй, «Дон».

— Здравствуй, Коля. Ты уже пришел?

— Гм... У тебя разведка поставлена что надо. Все знаешь.

— Конечно! — Наташа засмеялась. — Я даже знаю, что ты вымок до ушей...

Они разговаривали долго. Время от времени Наташа привычно официально говорила «минуточку» и замолкала. И тогда вновь становилась слышна жизнь линии связи. Николай терпеливо ждал.

— Але, — слышался вновь голос Наташи. И разговор продолжался. Николай, наверно, и всю ночь бы проговорил, если бы его не позвали к другому телефону.

Звонил Важенин. Он доложил, что замкомбат Минченко побывал у него и отправился дальше. Потом спросил, почему долго нет газет.

— Унесли вам, — успокоил его Николай.

— Эренбург есть? — спросил Важенин. И, узнав, что нет, долго и надсадно кашлял в трубку.

Николаю вновь захотелось сказать что-нибудь утешительное. Но сама мысль об этом показалась нелепой.

Что он скажет этому человеку, который ему в отцы годится? Чем его утешит? Сочувствием? Но он все-таки сказал:

— Ты прими сегодня двойную порцию. Прогрейся как следует.

— Эх-хо-хо... — вздохнул Важенин. — За этим дело не станет. Сводку знаешь? Сколько? — оживился он. — Шестьдесят населенных пунктов? И трофеи большие? Здо-орово!

Самое правильное, конечно, было бы пойти сейчас на передовую. Посидеть у Важенина, которому сегодня стало тоскливо. Побродить по траншеям. Зайти к лейтенанту Сибирякову. Тоже, небось не сладко смотреть на чистенькую фотокарточку...

Где-то внутри начала накапливаться злость. В чем, собственно, дело? Ведь он просто не имеет права уйти с командного пункта. Комбат на передовой, и Минченко тоже. И замполит, если еще не ушел, то скоро уйдет туда же. Комбат сказал Николаю, что он должен оставаться на КП. Это приказание даже обрадовало его. Наташа дежурит всю ночь... Так что нечего зря казниться.

А все-таки...

И снова звонок.

На этот раз звонила Наташа.

— Ты еще отдыхать не лег? — деловито осведомилась она.

Николай усмехнулся.

— Я еще колыбельную песенку не слышал... Споешь мне?

— Хи-итрый! — кокетливо протянула Наташа. — Разве можно на посту петь?

— Можно. Я разрешаю.

— Спасибо!

— Не стоит!

— Бессовестный ты, Коля! Толкаешь меня на преступление. Ну, ладно. Позвони мне минут через десять. Хорошо?

Положив трубку, Николай свернул самокрутку, закурил. Через десять минут он позвонит Наташе снова. И она споет ему, обязательно споет. Ведь он очень любит слушать, когда Наташа поет. Концерты для одного слушателя. Правда, телефонисты тоже слышат, но они не в счет.

Николай задумался. Длинное, суховатое, с резко очерченными бровями лицо его затвердело. Не отрывая глаз от огня, он машинально провел несколько раз по гладко зачесанным назад волосам. И вдруг резко поднялся, чуть сутулый, тяжелый.

Откинув плащ-палатку, он подошел к телефонисту. У

того по бокам круглой стриженої головы висели телефонные трубки.

— Слушай, — Николай положил руку на плечо телефониста, — вызови мне всех ротных и всех взводных, у кого телефоны есть. Чтобы они одновременно могли меня слушать, разом. Понял?

Телефонист торопливо бросил: «Есть!» — засуетился. Трубки, укрепленные на голове веревочками, закачались и начали постукивать одна о другую. Николай, засунув руки в карманы, ждал.

Когда все было готово, он взял трубку и сказал голосом, каким обычно отдавал приказания:

— Находитесь у телефонов и слушайте. Только слушайте, понятно?

— Понятно... Есть... — нестройно отзывались сразу несколько голосов. И только Важенин, приотстав, все-таки спросил:

— А что такое?

— Я сказал, сиди и слушай. Понял? Неужели так трудно понять?

— Как не понять. А...

— Слушай! Ясно?

— Ясно!

Несколько секунд Николайостоял молча, держа трубку перед собой. Потом сказал телефонисту:

— Соедини меня с «Доном». И когда... В общем, когда песни будут, переключи так, чтобы все слышали. Он сразу повернулся и ушел к себе в закуток. Сидел, навалившись на стол и прижав телефонную трубку к уху. Пальцы, державшие самокрутку, легонько вздрагивали.

Когда вновь донесся до него приглушенный расстоянием голос Наташи, Николай сказал как можно беспечней:

— Ты спеть обещала...

Наташа не заставила себя упрашивать. Она пела. Пела вполголоса, для него. Пела популярные довоенные песенки, не бог весть какие глубокие и умные, но заставляющие сладко ныть сердце. Пела украинские и русские песни, пела цыганские романсы и песни, рожденные войной. Временами она обрывала пение на полуслове, официальным тоном говорила: «Минуточку», — и замолкала. Тогда становились слышны попискивания, шорохи: линия жила.

Спев две-три песенки, Наташа спрашивала:

— Нравится? А что еще тебе спеть?

— Нравится, — бодрым голосом отвечал Николай и называл песню, которая первой приходила на ум. И каждый раз ждал, что вот-вот раздастся чья-нибудь просьба: «Спойте, пожалуйста...» Но никто не вмеши-

вался в их разговор, и он украдкой облегченно вздыхал.

Закончив песенку о старушке, которая ждет не дождется сына летчика, и о том, как этот летчик все-таки вернулся к ней, Наташа вдруг спросила жалобно:

— Коля, ты когда к нам придешь? Сколько времени уже не показываешься.

Чувствуя, что у него на лбу выступает пот, Николай растерянно пробормотал:

— Н-не знаю. Не получается все как-то.

Уловив в его тоне что-то непривычное, Наташа перешла в наступление.

— Ты мне сегодня ни одного хорошего слова не сказал!

— Знаешь, Наташа...

— Как? Как меня зовут?

— Наташенька...

— Ага, вспомнил! — торжествовала Наташа. Но тут же заговорила заботливым и даже виноватым голосом. — Ты устал, наверно. А я над тобой хаханьки строю. Ты не сердись. И петь я больше не буду. Хватит, правда? В следующий раз еще спою, ладно? До свиданья!

— До свиданья... Наташенька. Спасибо.

— Не сто-оит, — пропела Наташа. — Отдыхай, милый. До завтра.

Николай выпрямился и уже хотел положить трубку, когда вдруг услышал сиплый, простуженный голос Важенина.

— Спасибо, Наташенька, — кричал он. — Утешила, дочка!

И сразу же наперебой заговорили все. Николай невольно подобрался, словно ожидая удара. Вот сейчас... Сейчас будет дело... Поглощенный этой мыслью, не сразу уловил просачивающийся через шумную разноголосицу девичий смех.

Наташа смеялась!

И он радостно ворвался в бесшабашный и шумный разговор, который долго еще не смолкал по всей линии связи.





● ЗАНОЗА

Редко же в феврале бывает такой морозище. Далеко ли от колонки до дома, а вода в ведрах уже загустела, вот-вот ледком подернется.

Ведра привычно покачиваются, привычно бегут мысли — маленькие и неторопливые. На повороте к дому Вера Александровна тоже привычно задерживает шаг. Сколько они живут в своем доме? Восьмой год, кажется, пошел...

Долго строились, по бревнышку, по досочке. Зато и дом вышел — картинка. Федя каждое лето с ним возится. Где покрасит, где подмажет... Ныне вон огордил палисадник проволочной сеткой. Очень красиво получилось.

И место веселое — на углу. В каждую улицу три окна. Когда делать нечего — интересно посматривать: кто пошел, куда, с кем...

Вера Александровна медленно подымается на крыльце и, не снимая с плеч коромысла, долго возится с замком. Кухня охватывает ее теплой полутьмой. Не зажигая огня, она выливает воду в большой оцинкованный бак, выносит ведра и коромысло в сени. Ну, кажется, все. Да! Надо еще взять газету из ящика, и тогда можно будет посумерничать или повязать немногого. Генриетта придет из школы не раньше чем через два часа, а Федя сегодня во вторую.

С газетой в руках она неторопливо входит в дом, и еще с полчаса отнимает у нее мелкая суэта — проверить печку, налить молока большому пестрому коту, помыть несколько кастрюль. Наконец, переодеться.

В длинном, до полу, халате Вера Александровна кажется себе выше и стройнее. Мимоходом глянув в большое зеркало, она критически усмехается: какая уж тут стройность! И большие подшитые валенки выглядывают из-под халата ужасно смешно. А без них нельзя — с полу холодит.

Ну вот, теперь она совсем, совсем свободна. Раньше не любила вот так оставаться к вечеру одна. Побаивалась даже. А сейчас ей нравится побывать наедине с собой. И подумать можно, и даже помечтать немного. При Феде не размечтаешься, он умеет как-то заполнить собой весь дом, все подчинить себе. Невольно держишься настороже. И не любит, когда она сидит без дела — читает или на картах гадает. Сказать ничего не скажет, но не любит.

Впрочем, читает она сейчас мало. Не тянет как-то. Да и карты в руки берет редко. Чего ей гадать? Про червонного короля? Нет уж, хватит... Отгадалась в свое время.

Вера Александровна грузно опускается в кресло и несколько минут бездумно смотрит в окно. Сегодня за

окном ничего не видно, стекло затянуто ватной пеленой куржака. Глубоко вздохнув, Вера Александровна включает торшер и берет в руки газету.

Первую страницу она никогда не читает, начинает всегда с последней. Пробежав две-три заметки, разворачивает газетный лист — нет ли фельетона. И тут ей бросается в глаза знакомая фамилия. Большая статья... И заголовок напечатан крупно — «Последний день юности». Под ним, в средине колонки, светлыми наклонными буквами написано «Рассказ».

«Ишь ты, и рассказы стал писать», — думает Вера Александровна с неприязнью. Но эту неприязнь тут же заглушает любопытство. Она ведь не пропускает ни одной заметки, подписанной этой фамилией. Уже много лет. И всегда ей кажется, что ее обманывают. Не содержанием заметки, нет! Над содержанием она чаще всего и не думает вовсе. Сам факт появления в газете знакомой фамилии кажется ей неправильным. Он нарушает привычный ход жизни, он мешает, наконец.

Нашарив в кармане халата большие круглые очки, которые никогда не решается надевать при посторонних, Вера Александровна начинает читать.

«Запомнилась мне новелла одного молодого писателя. Хорошая новелла, душевная очень, впрочем, как и все остальные, помещенные в небольшой, наряд-

ной книжке. Так вот, в конце этой новеллы автор пишет: «...По жизни со мной неотступно идет мое детство... Как далеко от него ни уйди, оно всегда с тобой...»

Красивая, лирическая мысль. Я бы сказал даже — ключевая мысль, многое объясняющая в человеческих судьбах. Но... Но я не согласен с ней. Возможно, просто потому, что мы люди разных поколений. Как-никак, я постарше».

Да, уж не молодой человек, отметила про себя Вера Александровна. Очень даже не молодой.

«Может быть, потому, что на долю моего поколения выпало увидеть много смертей, мне кажется, что ни детство, ни юность не идут с нами по жизни. Они уходят, как уходят близкие нам люди. Остается память, след в душе, что-то еще очень сложное, что очень трудно выразить словами. Но как нельзя вернуть ушедших навечно близких, так нельзя вернуть и детство, нельзя вернуть юность.

Я не знаю, как это чувствуют другие. Но сам я совершенно точно знаю день, когда кончилось мое детство. В тот день, вернее в ту августовскую ночь, нас настиг пожар. Сгорели мы, что называется, дотла. Через неделю начались занятия в школе. Я пришел в класс другим человеком».

Про пожар, Вера Александровна это вспомнила сразу, он ей рассказывал. Помнится, даже говорил о том, как сгорели кошка и собака.

«Время пока не в силах стереть память и о последнем дне юности. Вот о нем, о последнем дне своей юности, мне и хочется рассказать. И, может быть, не столько людям, сколько самому себе... Хотя нет, это неправда. Конечно — людям».

Сколько ему было, когда он уехал? На год старше... Значит — девятнадцать.

«Я, наверно, был неплохим солдатом. Служба, дисциплина — это давалось мне легко. До войны я много занимался спортом, а в команде без дисциплины нельзя».

Но сейчас я должен сознаться, что с первых же дней службы самым бессовестным образом обманывал начальство. Нет, я не отлынивал от нарядов, не бегал в санчасть с выдуманными болезнями, одним словом, не был, как тогда говорили, доходягой. Мой обман, по существу, был невинным, хотя и приносил мне кое-какие выгоды... Нет, не то слово. Не выгоды, а так — послабления.

Дело в том, что как только стали составлять первые ротные списки (а надо сказать, что к спискам в армии тогда была какая-то повышенная страсть — их

составляли и пересоставляли бесконечное число раз), я не моргнув глазом заявил, что женат. Поскольку для подтверждения этого факта никаких документов не требовалось, меня никто не разоблачил, да, собственно, никто и не собирался разоблачать».

Вера Александровна улыбнулась. Как же, жена! Так и заявила один раз офицеру. И глазом не моргнула... Вон, оказывается, о чем он вспомнил... А к чему все это? Куда он клонит?

«Моя маленькая ложь не была бескорыстной. Наша дивизия формировалась в том самом городке, где жила девушка, которую я полюбил. И, конечно, женатому несколько раз разрешили отлучиться... До сих пор не пойму только, почему никто не обратил внимания на то, что я ни разу не попросил отпустить меня на ночь. Чего бы, казалось, проще: после отбоя ушел, к подъему пришел... Но я не мог так делать. Конечно, не мог!»

Ох, уж это-то она помнит! Несколько раз забегал, и всегда ненадолго. Голодный, а сказать стеснялся. Она его один раз картофельной похлебкой накормила. У самих было не густо. А ночевать... Нет, это было невозможно. И еще папа ему махорки давал.

«В дивизию ежедневно прибывало пополнение из новобранцев, спали мы в землянках в такой тесноте,

что поворачиваться на другой бок приходилось по команде, сразу всем. И не удивительно, что нас чуть не каждый день гоняли в баню.

Сходить в баню — невелик труд, во всяком случае это лучше, чем занятия по тактике. Но морозы стояли страшные, под пятьдесят, а баня была не близко. И эти походы были бы очень неприятными, если бы не удавалось мне частенько удирать, пренебрегая суворостью законов военного времени: свыше двух часов самоволки — дезертир».

Морозы и вправду стояли в ту зиму жуткие. Он даже нос поморозил. Пришлось вазелином мазать. И кремом. А один раз пошла его провожать. Чтобы не очень спешить, нос ему бинтом перевязали. Мороз не донимал, а встречные с сочувствием смотрели, раненный, дескать, солдатик.

«В феврале кончились, наконец, холода, кончились и наше пребывание в этом городке. Безошибочная солдатская молва дня за три сообщила точную дату отправки. Нас в последний раз вымыли, переодели во все новое. Дивизия выезжала на фронт.

И вот наступило утро того дня... В землянке, которая и раньше не отличалась красотой, стало вовсе голо. На пустых нарах в ряд стояли туго набитые вещмешки, валялись две пустые бутылки. Кто-то

искал портянки, кого-то вызывали, с кем-то ругался старшина... Мне нужно было быстрей удрать, чтобы успеть проститься, но я побаивался сделать это самовольно. А взводный все не показывался.

Наконец, он пришел, очень молодой и очень самоуверенный лейтенант. В ответ на мою просьбу прозрительно сощурился и бросил что-то пакостное в адрес всех женатых. Но все же отпустил. Отпустил!

Помню, что с непривычки мне очень неудобно было бежать с тяжелым мешком за спиной. Да и шинель попалась длинновата, путался я в ней. Ноги в новых, твердых валенках быстро заломило, противогаз и лопатка на каждом шагу подпрыгивали и норовили съехать на живот. Но я бежал и бежал.

Вот, наконец, и знакомый двухэтажный дом. Как хотелось одним духом вбежать по лестнице и постучать! Но я сделал не так. Я не собирался никого пугать и расстраивать. Я снял мешок, снял противогаз, расстегнулся. Проклятый пот так и лез из меня. Я несколько раз вытер лицо новенькой дымчатой шапкой, но оно сразу же вновь становилось мокрым. Тогда я сел на ступеньки, скрутил цигарку, закурил. Потом развязал мешок, достал полотенце и так сидел некоторое время — покуривая и вытираясь.

Шапку, противогаз, а заодно и ремень с подсумками и лопаткой положил рядом. Сидел и прислушивался — не пойдет ли кто. Очень уже не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как я тут расположился».

Какой он тогда пришел — спокойный или нет? Сейчас и не вспомнить. Не до этого было. Разве все упомнишь... Отдельные картинки крепко в памяти держатся. А чтобы все подряд, по порядку — нет, не вспомнить.

«А потом мы сидели в ее комнате. Я попросил ее поставить нашу любимую пластинку. Была у нас такая, мы под нее танцевать любили. Как-то, уже после войны, довелось мне вновь услышать эту песенку, и я поразился — до чего же она пустая! Но тогда она нам очень нравилась. Пластинка была старая, с трещиной, и на каждом обороте сухо щелкала. А мы сидели и слушали. И у нее на глазах появились слезы. Именно в эту минуту мы, кажется, начали понимать, что можем расстаться навсегда».

Нет, ничего она тогда не понимала. Это, может, он понимал. А она — нет. Только было такое ощущение, будто кто-то по голове ударил. Даже шум в ушах стоял. И отупела она как-то, ничего не могла сообразить.

«Она сидела напротив, подперев голову ладонями, и в упор смотрела на меня. Тянуло пересесть к ней,

на диван, но я стеснялся — в комнату каждую минуту могла зайти ее мать, которая меня недолюбливала. Собственно, ничего она мне плохого не сделала, даже не сказала, но недолюбливала — это точно».

Все говорила, что солдаты — люди ненадежные. И предостерегала даже...

«Не знаю, сколько прошло времени, кажется, с час, не больше. И вот уже забарабанил в дверь посланный за мной солдат. Он еще о чем-то говорил с ее матерью в прихожей, а я уже начал торопливо навыручивать на себя всю амуницию. Солдат был маленький, рыжеватый и, должно быть, очень любопытный. Зыркал глазами по квартире, заглянул на кухню и, похоже, даже повел носом. Потом он помог мне надеть мешок и уставился на мою девушку. В эту минуту мне стало совершенно ясно, что этот солдат понимает — она мне не жена. Не так провожают жены мужей, ой, не так...

Мне не хотелось прощаться при нем. Я только собрался сказать ему, чтобы он шел и подождал меня внизу, как вдруг Нина решительно сняла с вешалки свою дошку».

Смотри-ка, даже про дошку помнит. Хорошая была дошка, беличья.

«Я любил, когда она надевала эту дошку. Мех был ей к лицу, и мне очень нравилось, что прохожие за-сматриваются на нее. И сейчас, когда мы вышли на улицу и зашагали рядом, а солдатик поспевал за нами следом, многие оглядывались. Только, наверно, уже по другой причине. Тут, как говорится, все было ясно без слов.

На перроне толкалась вся дивизия. Просто удивительно, как в этой неразберихе я почти сразу же нашел свою теплушку. Около нее стоял командир взвода и нахально разглядывал нас. Надо было подойти к нему и доложить по всей форме о своем приходе. Но, встретившись с его взглядом, я решил, что не буду этого делать, и так обойдется. Он сразу догадался об этом, но, против обыкновения, не стал орать истошным голосом, срываясь на фальцет, за что его за глаза звали «петушком». Он просто отвернулся. Как-никак, выезжали мы не к теще в гости».

Интересно, он действительно все помнит? Или выдумывает что-нибудь? Необязательно ведь писать все, как было.

«Пристроив свой «сидор» на нарах и поставив винтовку в пирамиду, я мигом выкатился из теплушки. Нина стояла поблизости. Стояла не одна — их было

несколько, солдатских жен, провожавших эшелоны. И все они чем-то походили друг на друга. И Нина ничем среди них не выделялась...

Правда, у нее не было кошелки, в которых остальные женщины принесли своим мужьям сухари да подорожники. Помоложе она была остальных, да и одета побогаче. Но было что-то новое для меня в ее облике. Держалась она уверенней, что ли... Она имела право быть здесь, в этой солдатской толчее. Она стала солдаткой, своей среди других солдаток.

Когда пришли на вокзал, когда подходили к вагону, я все время чувствовал себя неловко. Не то думал, что мне скажут: «Вовсе она тебе не жена!», не то смешным не хотелось быть... Вроде бы в чужой одежде ходил, в ворованной. Мужем назывался, а какой уж тут муж...»

Вера Александровна тяжело вздохнула, откинулась на спинку кресла. Руки с газетой сами собой опустились на колени. Господи, к чему все это? Зачем это ему нужно, шаг за шагом вспоминать тот день? Бессовестно это. Разве можно так — всем рассказывать?

Невдалеке, на станции, мрачно загудел паровоз. Вера Александровна невольно поежилась. Надо же, и этот вроде напоминает...

«А тут, как увидел ее со стороны, я вдруг и вправду почувствовал себя мужем, мужчиной. Мне уже было наплевать на все, что подумают и скажут окружающие. Не до этого было. Большая беда надвинулась на нас, на нашу семью.

Я подошел к ней, взял ее за руки. Она прижалась ко мне, уткнув нос в расстегнутый ворот шинели. Так и стояли мы до тех пор, пока не раздалась команда «По вагонам!». Успели что-нибудь сказать друг другу или нет — не помню.

В вагоне мне сразу же уступили место у открытой двери. Перрон быстро пустел, только маленькая кучка женщин грудились у полинявшего довоенного киоска. А когда эшелон потихоньку тронулся, эта кучка распалась. Нина побежала было за вагоном, потом остановилась, да так и осталась стоять — тоненькая, стройная, с прижатыми к груди руками. Так и осталась...»

Вера Александровна всхлипнула, вытащила платок. Платок был несвежий, давно бы надо его состирнуть. Мельком подумав об этом, она зажала платок в зубах и продолжала читать.

«Счастливые концы нынче не в моде. Много разлук принесла война, слишком много. Нетипичными, пожалуй, стали встречи. Но у нас получилось иначе,

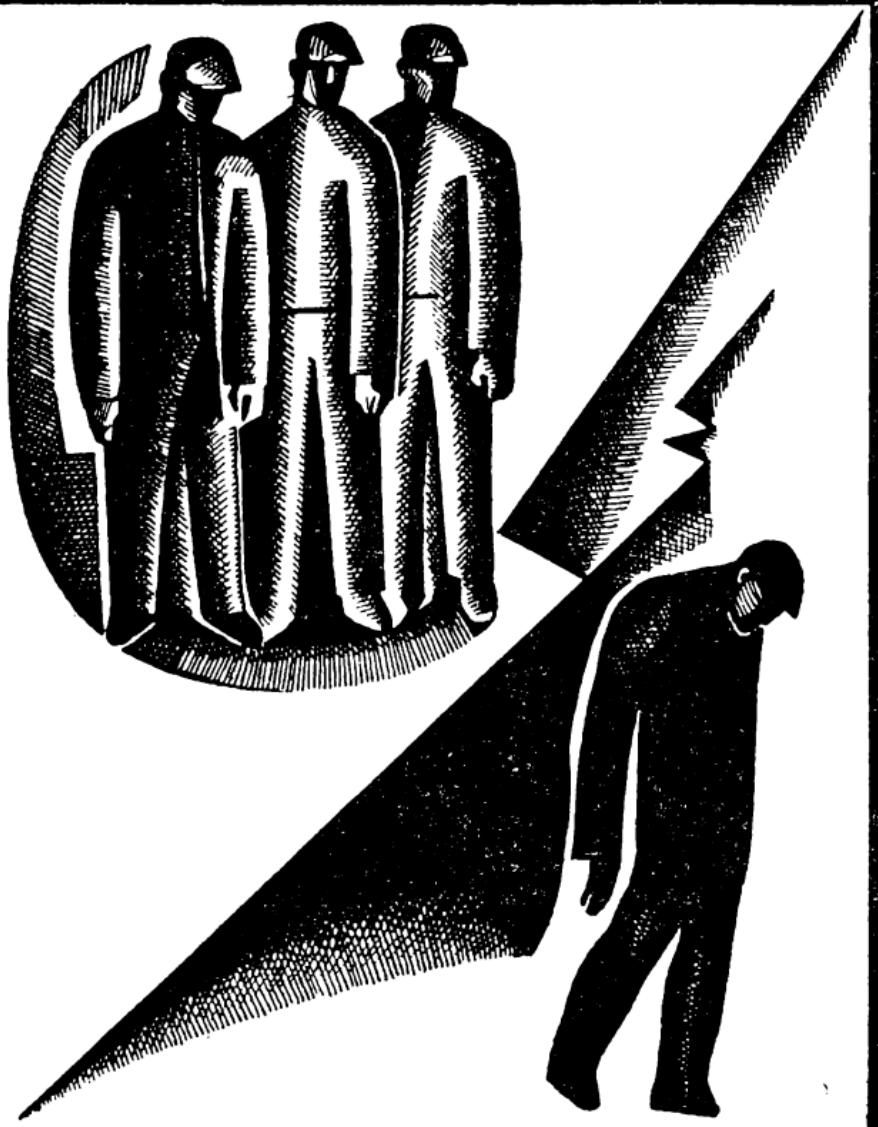
Жизнь ведь может сделать по-всякому. Нам сделала хорошо.

Сразу же после войны приехал я в тот городок, встретились мы, поженились. Живем как все... Детей ростим.

А вот с юностью больше не встретился. Потому что кончилась она тогда, на вокзале, ушла безвозвратно. Мужиком я тогда стал, взрослым. А обратных дорог в юность -- ау!.. — не бывает».

За окном шептал ветер. Стужа, видно, собиралась уступить место бурану. И вторя его первым шорохам, тихо и зло плакала пожилая, усталая женщина.





● ПРИКАЗ ИЗ ДВУХ ПАРАГРАФОВ

Начальнику «Уралстроя»
т. Александрову В. Н.
от коменданта 3-го палаточно-
го городка
Горбатенко И. С.

Рапорт

Настоящим доношу, что 14 июля 1961 года в 22 часа 30 мин. на территории вверенного мне городка возник пожар. По неизвестной причине из-за неисправности электропроводки загорелась палатка № 17. Пожарной командой строительства при поддержке всех присутствующих пожар был ликвидирован. Палатка № 17 сгорела. В ней размещалась бригада монтажников из управления Спецмонтажа Гранин А. (бригадир), Ларионов Ф., Колесников Б., Чупин Г. Имущество жильцов все сгорело.

Комендант 3-го палаточного
городка И. Горбатенко

15.07.61 г.

Резолюция

Глав. бух. тов. Осиповскому
Оплатите пострадавшим из фонда предприятия стоимость погибшего личного имущества согласно поданным заявлениям. Вопрос согласован с общественными организациями.

Александров

16/VII-61 г.

В бухгалтерию

Мне сказали, что я должен подать заявление с перечислением сгоревших на пожаре вещей. Считаю излишним перечислять все вещи. Если есть решение о материальной помощи нам, то пусть дирекция и постройком сами определяют ее размер.

Бригадир Гранин

17 июля.

Главному бухгалтеру
тov. Осиповскому Ивану Ми-
хайловичу

Никакой список я писать не буду. Что сгорело, то уж сгорело с концом. Надо будет, еще наживем. А жалко только фотографию мамину, другой у меня нет и не будет.

Монтажник
Ларионов Федор

В бухгалтерию

Объяснительная

Когда пожар случился, меня дома не было, был в отпуске. Приехал на другой день. Сгорела ерунда одна. Прошу вашего распоряжения, чтобы не вычитали с меня за спецовку. Она в палатке оставалась и сгорела целиком.

Колесников

Заявление

Во время пожара ночью 14 июля, когда мы добровольно вторую смену работали, у меня в палатке сгорели вещи:

Костюм однобортный (новый)

Туфли черные на коже (новые)

Туфли коричневые на микропорке

Рубашки — три

Рубашки тенниски — три

Белье — три пары

Носки — шесть пар

Платки носовые — четыре штуки

Часы «Звезда»

Чемодан — один

Полотенца — два

Галстуки — три штуки

Запонки позолоченные

Брюки (старые)

Авторучка

Книжек разных художественных и политических на 3 (три) рубля.

Кроме того, еще мелочь (ремень, щетки, безопасная

бритва, одеколон «Шипр» и пр.) — рублей на 10 (девять).

К сему Чупин, член бригады
коммунистического труда

17 июля 1961 года.

ПРИКАЗ № 218
по управлению Спецмонтажа «Уралстроя»

- § 1. По просьбе коллектива бригады т. Гранина перевести монтажника Чупина Г. Н. из этой бригады на участок № 2 с предоставлением места в общежитии.
§ 2. Монтажникам Гранину А. (бригадир), Ларионову Ф., Колесникову Б. за попытку рукоприкладства поставить на вид и предупредить.

Начальник отдела кадров Сергеев



● АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ ГРАЕВСКИЙ
● НАУКА КАПИТАНА ЧЕРНООКА

Р а с с к а з ы

Редактор Н. Пермякова. Художественный редактор М. Тарасова.
Технический редактор Т. Дольская. Корректор Е. Божанова.

Сдано в набор 25/XII 1967 г. Подписано в печать 2/II 1968 г.
Формат бумаги офсетной № 2 60×90 1/32. Печ. л. 4,25;
бум. л. 2,125; уч. издат. л. 3,678. ЛБ02041 Тираж 30000 экз.
Цена 30 коп.

Книжная типография № 2 управления по печати.
Пермь, Коммунистическая, 57. Зак. 1914.